

# Воображаемые космические путешествия в ранней советской научной фантастике

КОНСТАНТИН ИВАНОВ

Ведущий научный сотрудник, Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук (ИИЕТ РАН).  
Адрес: 125315, Москва, ул. Балтийская, 14. E-mail: ikv@ihst.ru.

*Ключевые слова:* советская научная фантастика; колониализм; Другой; технократия; антимодернизм.

В статье предпринимается попытка объяснить всплеск популярности космической фантастики на пороге XX века. Хотя эта литературная традиция восходит к Цицерону, Макробию, Данте и ряду авторов периода раннего Нового времени, стремительный рост интереса к этому жанру в период Серебряного века вряд ли можно считать случайным. В статье прослеживается генезис фантастики с древних времен и реконструируется формируемая внутри него трехуровневая структура антропоцентричного универсума. Указываются возможные причины, активизировавшие космическое воображение в конце XIX — начале XX века. В качестве одной из главных причин называется замыкание мира земной поверхности в результате колониальной экспансии. По мере постепенного сокращения некартографированных и неисследованных земных пространств возникли ожидания в отношении дальнейшего продвижения в еще не изведанные зоны универсума — как в верхние, так и в ниж-

ние. Авторы, писавшие о подземных и космических путешествиях, использовали терминологию, метафоры и сюжеты, отражающие причастность к колониальному опыту.

В статье анализируется произошедшая трансформация концепта Другого, что нашло выражение в том числе в литературных экспериментах со сценариями столкновений землян с инопланетянами. Рассматриваются три парадигмальных кейса ранней советской научной фантастики с путешествиями в различные космические зоны на примере произведений Александра Беляева (небо), Григория Адамова (подземье) и Владимира Обручева (земля и ее обитаемая изнанка). Проводится сравнение этих произведений с классическими работами Жюль Верна и Герберта Уэллса. В этой связи выявляется отчетливое несовпадение интуиций космического воображения усредненного западного и советского типов. Указывается на некоторые технократические антиципации в романах первых советских научных фантастов.

## Введение

**Н**А ПОРОГЕ XX века человеческое воображение покидает поверхность Земли и устремляется в далекие — мажущие и одновременно пугающие — космические миры. Речь идет не только о литературных фантастических произведениях. Ограничить эту тему лишь художественной литературой — значит существенно обеднить ее, сузить ее горизонт, загнать ее в плен классификаций, которые она стремилась преодолеть, а стало быть, не увидеть в ней главного. На рубеже XIX–XX веков «инопланетянин» стал значимой фигурой не только для литераторов. Если занять крайнюю позицию, то можно высказать предположение, что литература лишь *следовала* какому-то более масштабному и основательному смещению (особенности которого нам только предстоит определить). Писатели тонким чутьем своего дарования (кто-то ярче, а кто-то скромнее) уловили, *что* будет интересно их читателям, и воплотили в своем воображении картины, которые оказались созвучны серьезным и необратимым изменениям в сознании европейских читателей (произошедшим в силу своей всеохватности и большой исторической длительности почти незаметно для большинства из них). Если это утверждение верно, то парадигмальным следует считать казус не Жюль Верна и не Герберта Уэллса, а Эдгара Берроуза. Бульварное чтение, состряпанное отчасти от финансовой безвыходности, отчасти от увлеченности, непонятной ему самому, но очень метко угаданной художественной игрой, в несколько коротких лет захватило воображение многих миллионов читателей и впоследствии было признано мировой классикой. Создается впечатление, что Берроуз предельно полно воспроизвел в своих воображаемых путешествиях весь комплекс нового мироощущения, еще не узнанного за плотной завесой привычек вчерашнего века. И не в этом ли «будничном», строго говоря, и следует искать признаки по-настоящему великих перемен? Тем более что сейчас, используя преимущество ретроспективного взгляда, можно уверенно сказать, что и Верн, и Уэллс проиграли. Космическая фантастика продолжает жить в жанре *космической оперы*, а не научно-просветительского романа.

Но об инопланетянах грезил не только литераторы. Неожиданно для многих физик и будущий нобелевский лауреат Макс Планк произнес в ходе лекции, прочитанной в 1906 году:

Целью является не что иное, как единство и полнота системы теоретической физики... и не только в отношении всех частных систем, но и в отношении физиков всех мест и времен, всех людей и культур. Да, система теоретической физики должна быть значимой не только для жителей Земли, но и для обитателей других планет<sup>1</sup>.

Призыв к поиску более широких общностей, выходящих за пределы ограниченных физиологических, психологических и культурных возможностей землян, является чуть ли не общим местом у всех более или менее заметных мыслителей конца XIX — начала XX века. Чарльз Сандерс Пирс рассуждал:

Мне кажется, мы движемся к тому, что логичность неизбежно потребует, чтобы наши интересы не ограничивались лишь нашим собственным уделом, а охватывали все сообщество. Это сообщество, опять же, должно не ограничиваться, а распространяться на все расы существ, с которыми мы можем войти в прямой или опосредованный контакт. Оно должно неограниченно простирается за пределы этой геологической эпохи<sup>2</sup>.

Этот уход от определенного вида тела, наделенного определенными видами чувств, иногда покидал область человеческого в целом. Такие разные мыслители, как Альберт Эйнштейн и Бертран Рассел, одинаково мечтали о некоем «рае» или «сообществе святых», освобожденном от всех идиосинкразий ограниченного личного опыта и населенном «друзьями, которых невозможно потерять», «людьми моего типа, [которые] во многом оторваны от сиюминутного и просто личного и которые посвящают себя постижению вещей в мышлении»<sup>3</sup>. Сюда же можно отнести и попытки Готлоба Фреге найти некие универсальные средства выражения, которые могли бы избавить от беспокойства по поводу индивидуальных различий

1. *Planck M.* Acht Vorlesungen uber theoretische Physik: Gehalten an der Columbia University in the City of New York im Frühjahr 1909. Leipzig: Hirzel, 1910. P. 6.
2. *Peirce Ch. S.* Three Logical Sentiments // *Collected Papers* / Ch. Hartshorne, Paul Weiss (eds). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960–1966. Vol. 2. P. 398.
3. *Einstein A.* Autobiographical Notes // *Albert Einstein: Philosopher-Scientist* / P. A. Schilpp (ed.). La Salle, IL: Open Court, 1970. Vol. 1. P. 4–7.

на уровне ментальных репрезентаций и интуиций, а также осуществлявшиеся Рудольфом Карнапом поиски нейтрального языка, совместимого с самыми разными индивидуальными перспективами, и многое-многое другое<sup>4</sup>. Мощная комбинация новых идей в физике, физиологии, лингвистике и психологии, захватившая воображение приметных авторов рубежа XIX–XX веков, не могла не затронуть литературу, но отнюдь не сводилась *только* к ней.

И все же именно литература оставляет отчетливый след в истории в виде литературных *шедевров* — произведений, хранимых в памяти многих поколений. В отличие от рассеянных и едва различимых коротких пассажей в публичных лекциях, нескольких строк в личной переписке и немногочисленных страничек в дневниках, они возвышаются прочными монолитами, заставляя возвращаться к себе и позволяя заново покорять себя все новым и новым поколениям литературных «альпинистов». Если взглянуть на литературный ландшафт с этой точки зрения, то можно заметить несколько «пиков», своеобразие которых заключается в том, что они, как и многие произведения начала XX века, так или иначе связаны с *космическими* путешествиями. Они всегда стоят немного обособленно от прочих вершин. В них обязательно присутствует некоторое своеобразие, являющееся препятствием в рутинной классификационной работе. Первыми письменными образцами интересующих нас сочинений являются, пожалуй, десятая книга «Государства» Платона с описанием так называемого мифа об Эре — убитом воине, рассказавшем о своем путешествии в загробный мир, в ходе которого он в буквальном смысле *увидел* величественное здание космоса, и аналогичное произведение Цицерона под названием «Сон Сципиона», которое впоследствии было имитировано Макробием и многократно усилено Данте. С некоторыми натяжками сюда же можно отнести «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера, написанные, как показал Джон Норт, с астролябией в руках<sup>5</sup>, и отчасти «Трактат о бракосочетании Филологии и Меркурия» Марциана Капеллы. Сюда же относятся такие малопонятные с точки зрения как естественно-научной, так и литературоведческой классификации произведения, как «Сон» Иоганна Кеплера, «Космотеорос» Христиана Гюйгенса, «Экстатическое путешествие» Афанасия Кирхера и некоторые другие.

4. Спектр воззрений этих и других авторов на указанную проблему хорошо представлен в пятой главе книги: *Daston L., Galison P. Objectivity*. N.Y.: Zone Books, 2007.

5. *North J. Chaucer's Universe*. Oxford: Clarendon Press, 1988.

Нужно иметь в виду, что космос в этих произведениях понимался не только как околоземное или далекое космическое пространство. Строго говоря, космос в его архаичном понимании включал в себя в том числе нижний мир, подземный или подводный, — то, что располагалось *под* человеческим «обиталищем» и было столь же трудно достижимо, как небо над головой<sup>6</sup>. То есть космосом в них назывался весь комплекс антропоцентричного универсума с его верхом, низом и обитаемой срединной поверхностью, а не только то, что в современном словоупотреблении обозначается стандартным англофонным эквивалентом *space*. И если взглянуть на тематические расстановки космической фантастики рубежа XIX–XX веков, то можно без труда заметить, что они в точности так же распределяются по трем упомянутым мировым зонам. Помимо романа «Из пушки на Луну» у Верна можно найти такое произведение, как «Путешествие к центру Земли»; у Берроуза помимо так называемой Барсумской серии о Марсе есть серия о Пеллюсидаре — подземном мире, и т. д. В этом смысле литературное воображение авторов конца XIX — начала XX века мало чем отличалось от воображения их предшественников. Отличия, конечно же, были, но они заключались в другом, и мы подробно рассмотрим их в основном тексте статьи. Сейчас же мне нужно разместить свой подход (в котором я претендую на некоторое новаторство) в ряду других, более традиционных способов отношения к космической фантастике.

## Границы и отличия

Как следует из заглавия, меня будет интересовать прежде всего жанр *научной* фантастики, который отличается от близкого ему жанра фэнтези тем, что он в противоположность ничем не ограниченным воображаемым мирам фэнтезийной литературы имеет дело с воздействием воображаемой или реальной научной *тех-*

6. Еще Мирча Элиаде писал: «Мир... понимается в общих чертах как состоящий из трех этажей — Неба, Земли, Преисподней, — соединенных между собой центральной осью. Символика, с помощью которой выражается единство и связь между тремя космическими зонами, достаточно сложна и никогда не свободна от противоречий: у нее была своя „история“, с течением времени она неоднократно изменялась и „засорялась“ влияниями других, более поздних космологических символик. Но основная схема остается такой же ясной даже после многочисленных испытанных ею влияний: существуют три большие космические области, которые можно последовательно пройти, так как они соединены центральной осью» (Элиаде М. Космос и история. М.: Прогресс, 1987. С. 145).

нологии на воображаемое же общество или индивида при обязательном условии сохранения некоторой степени *правдоподобия* с точки зрения эмпирического мышления и технического прогресса. И все же, несмотря на этот ограничительный фактор, научная фантастика будет рассматриваться здесь как часть *фантастической* литературы, поскольку она — в точности как фэнтези — всегда основывается на элементе *изъятия* из привычного времени, места и/или совокупности общепринятых представлений, типичных для эпохи, в которую было написано произведение<sup>7</sup>. При этом из всего жанра научной фантастики я выберу только те произведения, в которых значительная часть повествования приходится на совершение самого путешествия со всеми его экзистенциальными, трансгрессивными и трансцендентными изъяснениями. В этом смысле то, что я собираюсь рассматривать, очень близко к другому литературному жанру — *travelистике*. Этот жанр развился и приобрел популярность в канун Великих географических открытий и эпохи колониальной экспансии<sup>8</sup>. В России он стал чуть ли не обязательной частью классической русской литературной традиции, во всяком случае в том, что касается кавказских литературных зарисовок<sup>9</sup>. Продвижение России в Сибирь, Монголию, Китай и Среднюю Азию не оставило столь ярких литературных следов, но многие из тех, кто путешествовал в эти регионы, — как по служебной надобности, так и по зову сердца, — публиковали свои путевые заметки, которые составили

7. Об этом хорошо написано у Левицки во введении к его антологии: *Worlds Apart. An Anthology of Russian Fantasy and Science Fiction* / A. Levitsky (ed.). N.Y.: Woodstock; L.; Overlook Duckworth, 2007. P. 9.
8. О возникновении спроса на такого рода «развлекательную» литературу, а также о появлении такой знаковой социальной категории, как «досуг рядового городского жителя», по-прежнему лучше всего написано у Роже Шартье: *Chartier R. Culture as Appropriation: Popular Cultural Uses in Early Modern France // Understanding Popular Culture: Europe from the Middle Ages to the Nineteenth Century* / S. L. Kaplan (ed.). B.; N.Y.; Amsterdam, 1984. P. 229–253.
9. Более экзотичный вариант *ride story* можно найти в поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Описание преобразования в результате физического перемещения в другое место — давний литературный прием. Если говорить о сознании как о функции некой сложно организованной материальной структуры, то этой структурой будут являться не только мозг и нервная система человека, но и его материальное окружение, создающее особый сенсорный фон. В этом смысле «дух места» и инициация через паломничество могут находить вполне приемлемое материалистическое объяснение.

заметную часть корпуса востребованной (в основном журнальной) русской литературы<sup>10</sup>.

Еще одна грань, которую следует обозначить, — это связь научной фантастики с *утопией*, поскольку эти жанры крайне тесно сплетены друг с другом. Обычно идеальное состояние общества ассоциируется с научными и технологическими успехами. В свою очередь, путешествие к другим мирам мыслится реализуемым в обществах, достигших более или менее совершенного социального порядка. Здесь вновь в качестве исходной точки отсчета приходится выбирать классические утопии раннего Нового времени, начало которых — опять же, очень условно — можно обозначить появлением произведений Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы. В них, и в особенности в произведениях их продолжателей XVII–XVIII веков, отчетливо звучат сначала только пробуждающиеся, а затем уверенно заявляющие о себе идеи Просвещения. Стилистика утопистов XIX века зачастую и вовсе не предполагала вынесения места и времени жизни их героев за пределы привычного мира. Эти последние утопии, в которые еще было принято верить, создавали иллюзию полного правдоподобия и достигаемости описываемых событий. Страхивая с себя налет фантастичности, они останавливаются в одном шаге от практических программ глобального социального переустройства, прочно ассоциируемых с социализмом<sup>11</sup>.

Однако на рубеже XIX–XX веков происходит довольно отчетливое разделение этих жанров. И в основном тексте статьи мы сосредоточимся на характере этой трансформации в советский межвоенный период. Подавляющее большинство интересующих нас фантастических произведений этого времени рисует не просто «сны», как это было ранее, а реальность *осуществленных* космических путешествий. Более того, произведения, которые продолжали просветительскую традицию конструирования идеальных обществ в «земных» условиях, все чаще вырождаются в *дистопии* — критику подобного рода социально ориентированных си-

10. Эти источники чрезвычайно многочисленны, и перечислять их здесь не имеет смысла. Историографический очерк, насколько мне известно, был подготовлен только по материалам, касающимся Средней Азии: *Левтева Л. Г.* Присоединение Средней Азии к России в мемуарных источниках (историография проблемы). Ташкент: ФАН, 1986. Остальные материалы еще ждут своей обработки.

11. Здесь мы могли бы вспомнить имена таких авторов, как Джованни Морелли, Дон Дешан, Александр Улыбышев, Владимир Одоевский и т. д.



стем<sup>12</sup>. Ситуация меняется с выходом первых *советских* фантастических произведений. Многочисленные российско-советские авторы-фантасты начала 1920-х годов зачастую просто мысленно продолжали процесс мирового коммунистического переустройства, распространяя его не только *на всю* Землю, но и на ближайшие планеты. Помимо широко известной «Аэлиты» (1922–1923) Алексея Толстого, были написаны романы менее известных авторов, как, например, «Пылающие бездны» (1924) Николая Муханова, «Психомашина» и «Межпланетный путешественник» (1924) Виктора Гончарова, «Аргонавты Вселенной» (1926) Александра Ярославского, «Планета Ким» (1930) Абрама Палея и др. В них отчетливо ощущается влияние новой «моды», впервые угаданной чутким пером Эдгара Берроуза. Это не фантастика в жанре научной популяризации, практикуемая Жюлем Верном, и не попытка осветить краевые метафизические вопросы на примере столкновения чуждых друг другу цивилизаций Герберта Уэллса. Произведения этих авторов напоминают скорее жанр космической оперы и почти смыкаются с фэнтезийной литературой.

Совсем иначе выглядит советская космическая фантастика 1930-х годов. Если говорить о самых громких произведениях того времени, то это романы Александра Беляева и Григория Адамова. На первый взгляд, их с полным правом можно отнести к разряду утопической литературы, в которой технологическая утопия дополняется социальной утопией всеобщего коммунистического либо социалистического благополучия. Так и поступали многие критики, пытающиеся анализировать советскую фантастику. Более того, именно таким был «официальный государственный заказ» на стилистику подобных произведений. Но мало кто обсуждает вопрос — устраивал ли этот заказ самих авторов? И если нет, то каковы были стратегии преодоления запретов, ограничений и обязательных правил, налагаемых на производство литературы такого рода? Не являются ли тексты, написанные авторами-фантастами, своеобразной «шкатулкой с секретом»? Не были ли они изобретателями особых литературных приемов, позволявших им, с одной стороны, не нарушать жестких норм, налагаемых грубой идеологической машинерией тоталитарного государства,

12. В России к таким произведениям можно отнести: «Потомки Солнца», «Лунная бомба», «Эфирный тракт» Андрея Платонова, «Под кометой» С. Бельского (псевдоним Симона Савченко), «Жидкое Солнце» Александра Куприна, «Мы» Евгения Замятина, «Республика Южного Креста» Валерия Брюсова, «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» Ивана Кремнева (псевдоним Александра Чайнова) и т. д.



а с другой — оставаться честными с точки зрения своего писательского дарования? Да, они изображали коммунизм. Но это был особенный коммунизм (и с точки зрения литературных задач, решаемых авторами, главное было не в нем) — он был маской, «оболочкой», скрывающей под собой нечто гораздо более важное. Мы поговорим об этом чуть позже, в основном тексте статьи.

Историография советской фантастической литературы чрезвычайно пространна и многогранна. К началу 1980-х годов эта тема сложилась в самостоятельное исследовательское направление со своим набором концептов, актуальных образов, парадигм, со своим нарративом, особой терминологией и стилистикой. Если говорить о ее академической ассимиляции, то она была абсорбирована в основном литературоведческом сегменте дисциплинарно поделенного академического пространства, благодаря чему были детально проанализированы литературные особенности этого жанра, максимально сближенного в работах литературоведов с жанром утопии. Например, согласно Дарко Сувину, «несмотря на все свои приключения, романтику, популяризацию и диковинность, научная фантастика в конечном итоге может быть представлена только в пределах горизонтов утопии и антиутопии»<sup>13</sup>. С точки зрения Джона Гриффитса, научная фантастика и утопия — это и вовсе одно и то же<sup>14</sup>. В ряде критических произведений, которые можно отнести скорее к философскому направлению, предпринимались попытки отождествить жанр научной фантастики с новым мифотворчеством, в котором советской фан-

13. *Suvin D. Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre. New Haven: Yale University Press, 1979. P. 62.*
14. *Griffiths J. Three Tomorrows: American, British and Soviet Science Fiction. L.; Basingstoke, 1980. См. также: Glad J. P. Extrapolations from Dystopia: A Critical Study of Soviet Science Fiction. Princeton: Kingston Press, 1982; Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. N.Y.: Oxford University Press, 1989; Science Fiction Studies. 2004. № 94 (Soviet Science Fiction: The Thaw and After); Banerjee A. We Modern People: Science Fiction and the Making of Russian Modernity. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2012; Нудельман Р. Фантастика, рожденная революцией // Фантастика. 1966. М.: Молодая гвардия, 1966. Вып. 3. С. 330–369; Бритиков А. Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л.: Наука, 1970; Геллер Л. Вселенная за пределом догмы: размышления о советской фантастике. L.: Overseas Publishing Interchange, 1985; Ревич В. А. Перекресток утопий: Судьбы фантастики на фоне судеб страны. М.: ИВ РАН, 1998; Он же. Литература как фантастика: письмо утопии // Дубин Б. В. Слово — письмо — литература: Очерки по социологии современной культуры. М.: НЛЮ, 2001. С. 20–41.*

тастике также отводилось особое место в связи с ее открыто декларируемой (и во многом мнимой) атеистичностью<sup>15</sup>.

Не вдаваясь в подробности концепций упомянутых выше литературоведческих изысканий, но помня о том, что их общим местом является почти полное отождествление жанра космической фантастики с утопией, я сосредоточусь в дальнейшем на поиске тех черт интересующей меня литературы, которые весьма сложно сочетаются с утопией (или антиутопией). Для этого я предлагаю инвертировать логическую операцию, которая обычно применяется при анализе утопических текстов. Вместо того чтобы рассуждать о вынесении места действия в какой-либо район, удаленный во времени и/или в пространстве, я предлагаю обратить внимание на перерождения, случающиеся с героями космических фантастических романов. Другими словами, я попытаюсь рассуждать не об отважных пионерах, штурмующих просторы (либо глубины) космоса, подчиняясь авантюрному духу «завоевателя» невиданных ранее территорий, а о внутренних перерождениях героев — о тех трансформациях (в случае советской фантастики почти всегда насильственных), которые происходят с ними, когда они попадают в незнакомые для них места. То есть, по сути, меня будет интересовать не вторжение человека в новое, незнакомое ему место, а наоборот — вторжение *другого места* в человека, приводящее к глубокому переосмыслению его отношения как к себе, так и к миру.

Если взглянуть на советскую космическую фантастику с этого ракурса, невозможно не заметить, что указанные новые состояния почти всегда *навязываются* героям произведений первых советских авторов. И здесь нельзя не задаться крамольным вопросом: а не само ли это состояние *принуждения к новизне* и было тем, что больше всего приковывало внимание советского читателя? И не в этом ли скрыт подлинный психологизм советских фантастических произведений? Мы еще затронем эти вопросы, но сейчас я попытаюсь рассмотреть обозначенную выше тему ображаемых космических путешествий с учетом более широкой перспективы и вкратце обрисовать традицию и периоды интере-

15. См., напр., одну из последних статей (и особенно библиографию к ней): Симонова А. В. Формирование космической мифологии как фактора развития научных исследований космоса в СССР и России // Социология власти. 2014. № 4. С. 156–173. Некоторые интересные наблюдения можно найти в работе: Бритиков А. Ф. Научная фантастика, фольклор и мифология // Русская литература. 1984. № 3. С. 55–74.

сующего нас жанра с точки зрения упомянутого в начале статьи «трехэтажного» строения антропоцентричного универсума.

## Истоки и смещения

Упомянутые во введении античные и средневековые авторы (Платон, Цицерон, Макробий, Данте, Чосер, Марциан Капелла), скорее всего, действовали в русле архаичного отношения к иерархии мировых зон, руководствуясь представлениями, восходящими к первобытным<sup>16</sup> космологическим<sup>17</sup> воззрениям. Немного упрощая, можно сказать, что поэтическое описание крупномасштабной структуры Вселенной не могло не появиться в силу естественной экспансии мира литературного языка. (Хотя нельзя исключать и противоположной версии, что сам поэтический язык возник как одна из эманаций глубинной сопричастности этих двух тайн — тайны мира и тайны человека. Или это было соявлением — взаимным означиванием. Я не могу сказать чего-нибудь определенного в этом вопросе.) Как бы то ни было, артикуляция отношения к различным космическим зонам выявляла сходства, соучастные душевным переживаниям самих артикулирующих субъектов, что в конечном счете было рационализировано в концепции многоуровневого соответствия микрокосма и макрокосма. Пересмотр этих отношений, изначально тяготеющих к устойчивости, мог вызываться вторжением в привычную жизнь чего-то фатально неотвратимого — не привычной житейской турбулентности, скорее скрашивающей жизнь, чем поражающей ее, а грубого сквозного надлома.

16. Не следует стесняться этого термина. Один горячо любимый мною коллега, которому я отдал читать свою тогда еще не опубликованную книгу, посвященную эволюции представлений человека о небе (*Иванов К. В. Небесный порядок*. Тула: Гриф и К, 2003), стыдливо заменил словосочетание «первобытные общества» на «человеческие коллективы каменного века». Однако в данном случае термин «первобытность» означает не «недоразвитость», а «первичность», как, например, «первобытный атом» Жоржа Леметра, то есть скорее возвеличивает этот термин, а не принижает его.
17. Коль уж речь пойдет о *научных утопиях*, я откажусь от более привычного термина «космогония» в пользу «космологии», поскольку архаичные космогонии — это не что иное, как космологии в современном понимании этого слова (которых тоже много). И благодаря работам Эйнштейна начало XX века стало свидетелем возрождения этой науки, и это так или иначе (как правило, в весьма искаженной форме) проникало в мир «интеллектуальной» литературы, а в *pulp-magazines* и вовсе утвердилось в виде чуть ли не обязательной моды.

Вряд ли будет большой ошибкой сказать, что произведения, содержащие описание воображаемых космических путешествий, почти всегда возникали как ответ на некий вызов, вынуждающий человека менять отношение к миру и своему месту в нем. В каком-то смысле возникновение такого рода описаний (выражаемых в снах, странствиях, фантастических рассказах других людей и т. д.) можно рассматривать как индикатор рубежности той эпохи, в которую они появлялись и — что, пожалуй, не менее важно — обретали широкую популярность. Поэтому мы не слишком погрешим против истины, если просто пройдем вдоль этой воображаемой «линии исторического развития», останавливая внимание на тех ее «участках», где она либо диспергирует, либо терпит отчетливый разрыв (конечно, не забывая о неизбежной условности такого рода аналитических построений)<sup>18</sup>.

Следующий всплеск интересующей нас космической фантастической литературы наступает на заре Нового времени — в тот исторический период, от которого принято вести происхождение современной науки. Здесь мы находим такие замечательные образцы этой литературы, как уже упомянутые «Сон» Иоганна Кеплера (1634) и «Космотеорос» Христиана Гюйгенса (1698), навеянные, по-видимому, новыми телескопическими открытиями и антиаристотелевской риторикой, основанной на поиске сходств между Землей и другими «планетами», особенно Луной<sup>19</sup>. Впрочем,

18. Часто наблюдаемое привлечение математических категорий для генерализации исторических суждений подстрекает к тому, чтобы довести до конца эту математическую логику. Тогда придется признать, что здесь мы имеем дело с численной математикой и, соответственно, «линия» является не чем иным, как интерполяцией, форма которой заведомо определяется интерполирующей функцией. Если же точки-события образуют высокоамплитудный разброс, возможности аналитического суждения о природе изучаемого процесса сильно снижаются.
19. Крайне интересные наблюдения на эту тему можно найти в книге Ладины Ламберт «Воображая невообразимое», прозвучавшей резким диссонансом на фоне литературы о научной революции — даже той, что учитывает широкие культурные и исторические контексты в стиле Стивена Шейпина, свидетельством чего является резко отрицательная рецензия на нее, написанная Аланом Гроссом: «Заголовок и подзаголовок этой монографии вводят в серьезное заблуждение. Книга, посвященная воображению невообразимого, должна касаться главного нерва этого оксюморона: хотя воображение основывается только на базовых впечатлениях, оно тем не менее способно производить нечто уникальное, а именно новое знание. Однако не это является темой Ладины Ламберт. Она рассматривает, как она сама признается, только способность воображения менять порядок визуального мыслительного контекста: создавать сатиров

и здесь не обошлось без предшественников. В горячо любимой Галилеем поэме «Неистовый Орландо», написанной в 1516 году Луидовико Ариосто, уже рассказывается о путешествии на Луну. Причем поэт разъясняет все увиденное им таким образом, как будто это были земные события. Однако, по всей видимости, наиболее сильным произведением интересующего нас жанра в этот период являются тонко проработанные диалоги Бернара Ле Бовье де Фонтенеля «Беседы о множественности миров» (1686), написанные, как полагают многие, для того, чтобы окончательно убедить читателя в истинности коперниканской системы мира<sup>20</sup>.

Были и такие писатели, которые пытались повернуть вспять эту аргументацию. В 1656 году апологет тихонианской системы мира астроном-иезуит Афанасий Кирхер использовал сюжет небесного путешествия для того, чтобы изложить собственную геоцентрическую космологию. Сочинение Кирхера представляет собой довольно странную, абсолютно внедисциплинарную с точки зрения стандартов консервативных университетских программ фантазию, в значительной степени опирающуюся на астрологическую традицию. Он опубликовал свои размышления, озаглавив их «Экстатическое путешествие», а через год, что немаловажно для нас, дополнил их описанием *подземного* мира. Это еще раз подтверждает тесную связь подобных произведений с прошлым и их способность оживлять *архаические стереотипы* сознания. Гюйгенс использовал те же аналогии, что и Кирхер, но уже для пропаганды учения Коперника<sup>21</sup>.

Наступивший после этого довольно спокойный век «земных» утопий прерывается на пороге XX столетия, когда жанр воображаемых космических путешествий заявляет о себе с новой, не-

из образов людей и козлов или, что более соотносится с нашей темой, создавать кратеры из лунных теней. Но такой ли должна быть книга об астрономии раннего Нового времени?» и проч., и проч. (Gross A. Ladina Bez-zola Lambert: Imagining the Unimaginable: The Poetics of Early Modern Astronomy. Review // ISIS. 2002. Vol. 93. № 4. P. 695–696). Речь идет о книге: Lambert L. B. Imagining the Unimaginable: The Poetics of Early Modern Astronomy. Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2002.

20. Здесь и в следующем абзаце пространно цитируется соответствующий фрагмент книги: North J. Cosmos: An Illustrated History of Astronomy and Cosmology. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. P. 383–385.
21. Благодаря стараниям его брата Константина, занимавшего высокий пост секретаря штатгальтера Нидерландов Виллема III, ставшего после революции 1688 года королем Англии, Шотландии и Ирландии Вильгельмом Оранским, «Космотеорос» был широко растиражирован и переведен на английский, голландский, французский, немецкий и русский языки.

виданной ранее силой. Что могло стать внешним фактором, послужившим стартовым импульсом для такого разрыва? Чтобы обозначить его, надо вспомнить те формальные критерии, которые мы перечислили в предыдущем разделе. Это должно быть каким-то образом связано, во-первых, с путешествиями; во-вторых, с поступательно развивающимися технологическими возможностями; в-третьих, с чем-то, что могло оказать деформирующее воздействие на привычные представления о соотношении микрокосма и макрокосма на всех его трех уровнях. В качестве явления, отвечающего всем этим трем критериям, я рискнул бы назвать то, что можно условно обозначить как административное, хозяйственное и дескриптивное замыкание земной поверхности. Рубеж XIX–XX веков был временем окончательного завершения всех «разграничений»<sup>22</sup> между планетарными империями, плотно обхватившими земной шар, и одновременно кануном Первой мировой войны, уничтожившей многие из этих империй<sup>23</sup>. По существу это было воплощенной реализацией замысла проекта Просвещения. И вряд ли можно считать случайной трагическую развязку этого проекта — мировую войну, ибо то, что было начато Вольтером и Монтескьё, вполне логично замыкается Мальтусом. Воплотилась мечта Дидро и Д'Аламбера, писавших в предисловии к своей «Энциклопедии», что они хотели бы создать

... некое подобие карты мира, которая наглядно показала бы главные страны, их положение и взаимную зависимость, дорогу, которая соединяет их кратчайшим образом. Эта дорога часто прерывается тысячами препятствий, которые известны в каждой стране только ее обитателям или путешественникам и которые не могут быть отображены иначе, кроме как на отдельных весьма подробных картах. Этими отдельными картами будут различные статьи Энциклопедии, а [схема в виде] Деревя или Диаграмма будет представлять собою карту мира<sup>24</sup>.

К началу XX века такая «карта» была создана не только в виде статей, но и в виде совокупности весьма подробных топографиче-

22. Стандартный термин, применяемый для делимитации и последующей демаркации границ между государствами в дипломатической практике конца XIX — начала XX века.
23. См., напр.: *Рубер А.* Сравнивая континентальные империи // *Российская империя в сравнительной перспективе: сб. статей.* М.: Новое издательство, 2004. С. 33–70.
24. Цит. по: *Withers Ch. W. J.* The Social Nature of Map Making in the Scottish Enlightenment, с. 1682 — с. 1832 // *Imago Mundi.* 2002. Vol. 54. P. 47.

ских планов, старательно вычерчиваемых офицерами-топографами на основе строго продуманной и математически выверенной процедуры топографической съемки с применением теодолитов, кипрегелей, мензул, буссолей. В зимние месяцы те же офицеры просиживали над отделкой своих съемочных брульонов и отправляли их в литографию, где самыми разными способами — от печати на камне до гальванопластики и фотографии — производилось тиражирование картографической продукции. Но какое отношение это могло иметь к космическому воображению?

Ответ заключается в том, что рационализированные практики картографирования, возникшие как реакция на прагматичные запросы военных ведомств и крупных коммерческих предприятий периода империй, перенаправили устремления путешественников, владеющих актуальной и стратегически важной картографической информацией, с рынка «развлекательной» литературы на рынок сбыта сведений о незнакомых территориях, где воображение перестало быть востребованным; оно сохранилось, но приобрело отрицательную рентабельность, реализующуюся в упреках, высказываемых друг другу агентами новых амбиций и компетенций, которые нахваливали и старались подороже продать свой «товар» — *невмышленное* знание о тех местах, где им довелось побывать (которое, безусловно, сплошь и рядом продолжало оставаться вымышленным<sup>25</sup>). Незведанных территорий почти не осталось, и замкнувшийся мир становится местом, взывающим не столько к удивлению, сколько к потребности его обживать. В имперский период из мира уходит экзотика. Точнее, она перестает быть предельным понятием, охватывающим все труднодоступное, и теряет свою завораживающую трансцендентность. Это вытеснило воображение с поверхности Земли, которая вдруг стала замкнутой (притом тесно замкнутой, если учесть обилие и кровожадность колониальных войн). Теперь ему пришлось заявлять о себе в других фантазиях. И вероятно, не случайно то, что именно тогда возникает целая плеяда писателей, фантазия которых устремляется за пределы уже практически полностью подчиненного, поделенного и нанесенного на карту мира земной поверхности. Жюль Верн, Герберт Уэллс, Эдгар Берроуз, Александр Богданов, Алексей Толстой — герои этих писателей

25. Ряд ценных иллюстраций на эту тему можно найти в книге: Малкин С. Г. Лаборатория империи: мятеж и колониальное знание в Великобритании в век Просвещения. М.: НЛО, 2016.



проникают в иные, еще не освоенные космические зоны, как верхние, так и нижние.

Однако это была не целиком и полностью вымышленная реальность. В ней воссоздавался иной миропорядок, не отрицающий реальность, но углубляющий ее возможности на основе какого-либо гипотетического предположения. Производился своего рода «мысленный эксперимент с дополнительными возможностями реальности»<sup>26</sup>. Ориентация исходных модальных расстановок в ней практически сразу обрела полный набор сюжетных конфигураций. Если реальность Жюль Верна, говоря словами Ролана Барта, «триумфально поглощалась» героем, увлеченным «общим процессом покорения природы», которую он превращал в «знакомую и замкнутую сферу, где человек мог бы жить-поживать со всеми удобствами»<sup>27</sup>, то у Уэллса (а также у Богданова и отчасти у Берроуза) космос — это источник неисчислимых угроз и страхов, это «дикий зверь»<sup>28</sup>, воплощающий наши извечные фобии. Собственно, все фантастические произведения, предполагавшие существование инопланетного героя (который порой так отчетливо напоминал «аборигенов» завоеванных территорий), реализовывались в пределах фабульного пространства, задаваемого этими двумя противоположными полюсами.

Герои этих романов настойчиво пытаются отыскать что-то новое в этом мире, взглянуть на него с непривычной стороны. По сути, они производят его ревизию, стараются найти в нем что-то, что раньше было скрыто или недостижимо. Таким вот незамысловатым способом они меняют отношение к миру. Но если, как было заявлено ранее, изменение отношения к миру с полным набором парадигмальных представлений как о мироздании, так и о своем (коллективном и/или индивидуальном) месте в нем является индикатором некоего гнетущего несоответствия между желаемым и действительным (своим и чужим, близким и далеким, сказанным и несказанным — в общем, какой-то формы потери *утопа*, если понимать последний философически), то что означало это очередное возрождение платоно-цицеро-макробиевых фантазий на рубеже XIX–XX веков? К чему привела такая резкая мутация жанра, заместившая грезы о чудесных перемещениях маги-

26. *Ruyer R. L'utopie et les utopistes*. P.: PUF, 1950. P. 9. Цит. по: Аинса Ф. Реконструкция утопии. Эссе. М.: Наследие; Editions UNESCO, 1999. С. 38.

27. *Барт Р. «Наутилус» и пьяный корабль // Он же. Мифологии*. М.: Академический проект, 2008. С. 81–82.

28. Сравнение, впервые примененное Джордано Бруно. См., напр.: *Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя*. Самара: АГНИ, 1997.

ей технологического преодоления природных ограничений (напомним, что речь идет о *научной фантастике*)?

На этот вопрос нельзя ответить, исходя из абстрактных предположений. Логика дедукции здесь вряд ли поможет. Нужно иметь под рукой что-то более осязаемое. Поэтому нам придется поближе познакомиться с содержанием упомянутых романов. И все же при всем их разнообразии можно выделить некоторые общие черты, которые объединяют их в единый литературный жанр. Они весьма противоречивы. Например, несмотря на торжество рациональности, сопутствующей всякому позитивному научному, а тем более технологическому решению, апологизируемому этими произведениями, условия осуществимости любого рационального приложения предполагают близкое соседство необъясненного, непонятого. Поэтому, собственно, все эти произведения содержат в качестве исходного намека некоторую разлаженность и недоговоренность и, соответственно, являются попыткой преодоления указанного разлада. Если литература и вправду является отражением реальности — хотя бы каких-то ее граней, — то наша фантастическая «утопия» отражает в первую очередь (как рамка, оправа, некая исходная пустота) само это *смятение*, паралич рациональности, равно как и тягу к выходу из него. Она задевает какой-то очень глубокий нерв, какую-то больно затронутую *недоговоренность*, что пробуждает мощное стремление к освобождению от этого еще не окончательно отмысленного стеснения через рациональное преодоление и в итоге перерождение.

Если ориентироваться на содержание этих произведений, то все в них колеблется на этих странных весах, на противонаправленности двух человеческих воль и вер: стремлении подчинить себе реальность, с одной стороны, и ощущении своего бессилия перед ней — с другой. Сказанное выше можно отнести к любому типу художественной литературы, но в тех произведениях, которые мы собираемся анализировать, указанный конфликт приобретает акцентированное звучание; меняется вектор сознательного усилия автора, которое в идеале должно было бы привести к полной аннигиляции «эго», *self* — всего, что обеспечивает наше относительно комфортное существование в этом мире, поскольку именно это является условием освобождения и перерождения для мира нового. Это были произведения, нацеленные на *антикатарсис*, на невозможность возобновления прежнего уюта. Может быть, поэтому их концовка — самое слабое их место. Это всегда какой-то механический возврат к уже неинтересной обыденности под давлением все той же так и не преодоленной ре-

альности — как реальности внешнего мира, так и реальности себя. (Но не в ранней советской фантастике, о чем мы еще поговорим.)

Стоит ли говорить, что мир, в котором происходит это перерождение, почти полностью вымышленный. Поэтому он не может задержаться в этих произведениях надолго, равно как не может стать полноценной реальностью. Он живет лишь в ностальгических воспоминаниях побывавших в нем героев, подвергшихся какому-то количеству испытаний как телесного, так и ментального характера, не всегда безобидных. Размещая своих героев в обстановке почти абсолютной новизны, авторы этих произведений имитируют возникновение у них когнитивного шока. Понятно, что это только имитация, своеобразная тренировка, попытка смоделировать ситуацию немоты рациональности, столкнувшейся с чем-то неизвестным и впервые увиденным (под взглядом здесь следует понимать интегральный эффект взаимодействия всех пяти человеческих чувств), что часто приводит героев к ментальным недомоганиям. Тема временного душевного разлада, а иногда и откровенного помешательства — одна из констант рассматриваемого нами литературного жанра<sup>29</sup>. Преображенный мир, в который попадают герои наших романов, является местом, где они сами становятся другими. В каком-то смысле реальность указанных выше произведений — это реальность *бреда*. Но литературное произведение не может быть бредом. Оно нуждается в фабуле, которая *a priori* логична, последовательна, замкнута. Решение этой задачи художника — размещение бреда в пространстве рационального восприятия — одна из наиболее характерных (и наиболее привлекательных) черт такого рода литературы.

В каких-то своих весьма важных оттенках это — логотерапия, помогающая погасить смятение разлада. Пусть пока только в воображении. Точнее, посредством воображаемого путешествия, которое порой очень напоминает бегство. Причем это всегда не «бегство к», а «бегство от», поскольку мир, в который попадают герои, всегда неизвестен. Он не имеет четко очерченных границ, а его насыщение полно загадок и недоговоренностей. Это поиск новой свободы, предпринимаемый тогда, когда привычная обыденность становится слишком невыносимой. Тема бегства как

29. Когда говорят, что утопия — это попытка нарисовать общество, в котором разум доминирует над инстинктами, то немного кривят душой. Борьба с собственными инстинктами тоже в каком-то смысле инстинктивный порыв. Трудно рефлекслируемое стремление к тому, чтобы оставаться бесстрастным, тоже веление нашей страсти — может быть, самой сильной страсти.

стремления к свободе слишком хорошо описана, чтобы можно было добавить к ней что-то еще. Но в данном случае у нее появляются новые горизонты. Точнее, она освобождается от самого горизонта — этого большого неподвижного круга, остающегося неподвижным, даже когда все вокруг меняется. Как уже говорилось, в замкнувшемся мире рубежа XIX–XX веков невозможно было двинуться куда-либо, не встретив кого-нибудь из тех мест, откуда хотелось бы скрыться. Земной мир был уже поделен. Границы сомкнулись. Белых пятен на карте практически не осталось. Невозможность дальнейшего «горизонтального» продвижения была вынуждена искать себе другие направления. И этим «другим» оказывались либо безбрежные просторы космического пространства, либо негостеприимные недра Земли.

Добавим, что если вообще уместно обозначить любой вид утопий как разновидность бегства — от неблагоприятного социального окружения или от собственной мятущейся души<sup>30</sup>, — то на пороге XX века у этого бегства появляется новое направление — *вертикаль*. Рождается новое *ощущение* вертикали, мечта о полете либо, наоборот, о *погружении*. Это с удивительной тонкостью улавливает Александр Грин в своем «Блистающем мире». И об этом же, в сущности, грезит Эдгар Берроуз в «Тарзане». Наверное, именно поэтому мечта написать роман о летающем человеке не покидает признанного сталинского фантаста Александра Беляева до конца его дней и частично воплощается в недописанном «Ариэле». «Блистающий мир», обычно не относимый к разряду утопической или научно-фантастической литературы, *содержит* описание утопии, но она излагается не главным героем Друдом, а его сначала страстной поклонницей, а затем непримиримым врагом аристократкой Руной. Друд отвергает ее проект обновления человечества, что символизирует многое: и разочарование в самих утопиях, и невозможность аристократии освободиться от усталости навалившихся на нее веков с их уже далеко не злободневными идеалами, и неспособность Друда распорядиться своим необычайным даром, поскольку он свалился на «земного» человека «с неба» без инструкций по применению и от этого стал не даром, а тяжелой ношей. (Вряд ли мое, по преимуществу аналитическое, письмо сумеет поспеть за всем, что рисовалось гениальной и чуткой фантазией Грина, когда он пестовал этот образ.)

30. О природе русского «психологического реализма» хорошо написано у Левитски: *Worlds Apart*. P. 15–18.

Но все это нуждается в некотором весомом материальном наполнении. Заново населяемые миры должны были быть хоть как-то известны. И некоторые сведения о них действительно имелись. Это было *научное* знание (о чем свидетельствует само название интересующего нас жанра). К началу XX века уже существовала отлаженная индустрия популяризации научных идей, оправдывающая себя, в том числе коммерчески. Выставки, музеи, популярные лекции, любительские общества, обзорные статьи специалистов о последних научных открытиях, высокий престиж профессии ученого, с одной стороны; с другой — возросшее благосостояние граждан, появление досуга и всевозможных индустрий его насыщения, в том числе интеллектуальными мероприятиями, создали благоприятные условия для трансляции научного знания в сферу обыденных представлений. В следующем разделе мы рассмотрим, что, собственно, было известно о тех мирах, которые столь обильно и разнообразно населялись усилиями писателей-фантастов конца XIX — начала XX века.

## Контексты и интенции

В начале XX века слова «инопланетянин» и «марсианин» были почти синонимами. Тогда для многих Марс действительно был обитаемой планетой. Поэтому фантастические произведения могли казаться им особенно реалистичными, если речь шла об этой планете и ее обитателях. Не вызывает сомнений, что выбор Марса как первого приключения из всех воображаемых космических одиссей был в значительной степени подготовлен работами астрономов, в особенности Скиапарелли и Лоуэллом. Как известно, в 1877 году, во время одного из противостояний Марса, итальянский астроном Джованни Скиапарелли решил взглянуть на него через недавно изготовленный телескоп с достаточно большой апертурой и неожиданно увидел на поверхности планеты огромное количество пересекающихся тонких линий. Скиапарелли сразу же дал им название *canali* — проливы, протоки. В английский язык оно перешло как *canals* — каналы — и стало ассоциироваться с разумной деятельностью, инженерным планированием и возведением искусственных конструкций. В середине 1890-х годов идея о существовании на Марсе каналов была подхвачена американским астрономом-любителем и бостонским богачом Персивалем Лоуэллом. Для изучения этих тонких линий Лоуэлл на собственные средства построил довольно большую обсерваторию в Аризоне, недалеко от Флагстаффа.

Будучи замечательным популяризатором, Лоуэлл утверждал, что прямые линии свидетельствуют о существовании на Марсе древней цивилизации, значительно более развитой, чем наша, которая в какой-то момент столкнулась с планетарной катастрофой — повсеместной засухой, гораздо более суровой, чем земные засухи. Чтобы решить эту проблему, марсиане покрыли планету плотной сетью каналов, которые доставляли воду, образующуюся при таянии льда полярных шапок, страдающим от засухи обитателям экваториальных широт. Более того, Лоуэлл считал, что его наблюдения позволяют высказать ряд предположений о политическом строе марсиан. Поскольку сеть каналов охватывает всю планету, на Марсе должно существовать планетарное правительство, во всяком случае на тех территориях, где просматриваются инженерные сооружения. Эта увлекательная история быстро снискала популярность, проникла в массовое сознание и особенно глубоко впечаталась в него благодаря художественной литературе, в частности так называемой Барсумской серии научно-фантастических романов Эдгара Райса Берроуза и «Войне миров» Герберта Уэллса<sup>31</sup>.

Каналы упоминаются почти у всех фантастов, так или иначе затрагивавших тему Марса. Кроме того, всеми ими разделяется негласное убеждение, согласно которому очередность формирования планет, возникновения жизни на них и, соответственно, истощения планетных ресурсов идет от внешних планет к внутренним (как правило, подразумевался ряд: Марс → Земля → Венера). У кого-то, как, например, у Берроуза и Богданова, об этом говорится открыто, у других (как у Толстого и Беляева) подразумевается. Здесь опять можно усмотреть параллели с развитием научного знания, в данном случае — гипотезой формирования Солнечной системы Канта–Лапласа, ставшей в начале XX века предметом популярного чтения<sup>32</sup>. К слову сказать, рубеж XIX–XX веков оказался кризисным и для самой научной космогонии. Это отчасти спровоцировало ее широкое обсуждение не только в узкопрофессиональных кругах, но и среди широкой любитель-

31. Здесь я выборочно цитирую свой перевод книги: *Саган К.* Наука в поисках Бога. СПб.: Амфора, 2009.

32. См., напр., такие популярные сборники переводов зарубежных авторов на русский язык, как: Новые идеи в астрономии: Непериодическое издание, выходящее под ред. проф. А. А. Иванова. Сб. 1–7. СПб.: Образование, 1913–1915. Сб. 1: Космогонические гипотезы I. 1913; Сб. 1: Космогонические гипотезы II. 1914; Классические космогонические гипотезы. Сборник оригинальных работ. М.; Пг.: Государственное издательство, 1923.

ской аудитории и, кроме того, сделало ее открытой для вторжений со стороны других дисциплин, содержащих в себе ферменты знания, потенциально значимого для космогонических рассуждений: биологии, геологии и химии<sup>33</sup>.

Но вот что касается идеи исчерпаемости планетных ресурсов как закономерного результата деятельности разумных существ, то, похоже, впервые она возникает именно в научной фантастике начала XX века, хотя в то время ей еще не придавали столь важного значения, как в 1960-е годы<sup>34</sup>. Именно этим обстоятельством обусловлен прилет марсиан на Землю у Герберта Уэллса. По той же причине у Александра Богданова в коммунистическом обществе Марса создается комиссия по космической колонизации, которая решает вопрос о выборе подходящей для этого планеты. В качестве возможных вариантов рассматриваются Земля и Венера. Венера труднодоступна, и условия обитания на ее поверхности опасны и слишком энергозатратны для марсиан. А для того, чтобы колонизировать Землю, необходимо истребить уже существующее на ней человечество. Решение этой сложной этико-рациональной дилеммы составляет предмет горячих и бескомпромиссных споров членов комиссии.

Наконец, нужно принять во внимание, что начало XX века — это время стремительного прорыва в космологии. Это рождение специальной (1905) и общей (1916) теорий относительности, известных в России, — о чем можно заключить хотя бы по тому, что именно русский математик Александр Фридман поправил в 1924 году ошибочное решение Эйнштейном его собственных уравнений, записанных для всей Вселенной, благодаря чему мир перестал быть статичным<sup>35</sup>. (Событие, достойное звания нового коперниканства!) Привлекательная возможность собрать из пространства и времени абсолютно новую, неведомую до сих пор нервюру здравого смысла открывала перед мысленным взо-

33. См. пятую главу моей книги: *Иванов К. В. Небесный порядок.*

34. Именно в этот период благожелательное отношение к науке и технике как к чему-то, что способно обеспечить счастливое существование человечества в будущем, сменилось настороженным отношением к ней как потенциальной носительнице возможных будущих бед. См. об этом мою статью: *Он же. Чем мы обязаны фундаментальной науке? // Логос. 2005. Т. 15. № 6. С. 127–134.*

35. *Тропп Э. А. и др. Александр Александрович Фридман. Жизнь и деятельность.* М.: Наука, 1988. Гораздо более выразительное название имеет английский перевод этой книги: *Tropp E. A. et al. Alexander A. Friedmann: The Man Who Made the Universe Expand / A. Dron, M. Burov (trans.). Cambridge: Cambridge University Press, 1993.*



ром авторов-фантастов широкую панораму еще не разведанных пространств писательского воображения. Эта мысль спешно подхватывается и начинает употребляться по делу и не слишком, привлекая читателя не столько научным содержанием, сколько своим почти магическим обаянием.

Неуклюжие литературные обороты с непривычным лексико-семантическим употреблением понятий пространства и времени — абсолютно бессмысленные для уха физика-профессионала — спорадически появляются в произведении Алексея Толстого «Аэлита»: «Далее в безвоздушном пространстве я могу лететь с любой скоростью»; «Так, пронеслось непомерное пространство времени»; «...я кладу на весь перелет в безвоздушном пространстве шесть-семь часов»<sup>36</sup>. Тем не менее освобождение от пыльного ньютоновского «ящика» (пространства с лежащим поодаль мерно тикающим секундомером), возможность мыслить категории «пространства» и «времени» неразрывно друг от друга создали в новых фантастических произведениях атмосферу смелого онтологического новаторства. Перемещаясь в пространстве, путешественники, как правило, путешествуют и во времени — идет ли речь о геологическом прошлом Земли (путешествие по «изнанке» земной коры в «Плутонии» Владимира Обручева), о биологической детерминированности развития форм организации живой материи на всех планетах (а потому Марс — это будущее Земли, а Венера — ее прошлое, что прослеживается почти у всех авторов, пишущих о космических путешествиях) или и о далеких футуристических прогнозах (когда меняется сама «человеческая» раса).

## Инверсия и рикошет

Появление в научной фантастике начала XX века других миров в значении других планет означало одновременно замыкание нашего собственного, земного мира в некоторую законченность, завершенность<sup>37</sup>. И если географические открытия позволили взглянуть на Землю как бы со стороны, сделав ее обозримой,

36. То есть средняя скорость полета должна составлять около 2000 км/с, что недостижимо даже сегодня. Вообще в отличие от Жюль Верна, романы которого можно по праву считать популяризаторскими научными сочинениями, Толстой демонстрирует абсолютное отсутствие понимания азов физики и небесной механики, несмотря на то что первое его образование было физико-математическим.

37. Аналогичным образом открытие Нового Света способствовало специфичному укоренению в языке понятия «континент».

снабдив человечество целым корпусом чертежей и карт и разбудив геометрическое воображение Бернхарда Римана, Яноша Бойяи и Николая Лобачевского, то выход за пределы геоида сделал актуальной задачу размещения нашего мира в перспективе других возможных «человечеств». И здесь для создания литературного сюжета поначалу использовался обычный перенос в другие, гипотетические, незнакомые нам миры. Это создавало практически неограниченные возможности для писательского воображения, но потребность в его успешной реализации с точки зрения читательского спроса вынуждала авторов искать более надежные, уже зарекомендовавшие себя и востребованные сюжетные ходы. Мало кто рисковал заходить слишком далеко в таких экспериментах<sup>38</sup>. Так, у Берроуза война «красных» марсиан с «зелеными» отчетливо читается как борьба колонизаторов Америки с ее автохтонным населением — «индейцами», то есть вся его так называемая Барсумская серия есть не что иное, как вестерн, продолженный во взвездные, космические миры. У Толстого марсиане имеют очевидное сходство с населением Средней Азии, во всяком случае таким, каким оно рисовалось воображению российских обывателей<sup>39</sup>.

Зачастую научно-фантастические произведения выглядят как попытка вернуть утопии ее остроту и злободневность, поскольку в литературном творчестве начала XX века она стала слишком явно тяготеть к разочарованию в идее реализуемости земного счастья. «Нет правды на земле». Но есть ли она выше? «Красная звезда» Александра Богданова вообще может быть прочитана как апология социальной утопии со сложной рефлексией в отношении главной проблемы социализма — возможности не-

38. Не стоит преувеличивать степень новаторства научно-фантастической литературы. Она не стеснялась черпала из кладезя предыдущих литературных традиций, и многие споры, которые можно встретить на ее страницах, — это старые разговоры в новых стенах, попытка освежить интерьер и таким образом добавить задора избитым и во многом исчерпанным сюжетам. С точки зрения композиции это вообще бедный, почти монологический жанр.

39. Самый распространенный тип одежды марсиан Толстого — халаты; у них нет хмелящих напитков, но для получения удовольствия они курят особую траву — *хавру* (чем не среднеазиатская *ханка*?); они сентиментальны, пугливы, не умеют воевать; если воюют, то берут только числом, а не умением и доблестью; сохраняют при всей цивилизационной развитости (Марсом управлял «Совет Инженеров») веру в магию и древние сакральные культы; носят на голове «колпачки»; и наконец, режим их политического правления — духовная деспотия.

противоречивого сочетания социального порядка и индивидуальной свободы. Моделью реализации такого рода социальных отношений является у него коммунистическое общество Марса, в котором это противоречие иллюстрируется примером проживания в нем убежденного и хорошо образованного марксиста с Земли, оказавшегося тем не менее абсолютно неподготовленным к жизни в новых для него коммунистических обстоятельствах, что вызывает у него временное помешательство с тяжелыми последствиями — «некрасивым», спонтанным убийством марсианина тем, что под руку попало, как у Митеньки в «Братьях Карамазовых».

Грустная обида самоотверженного борца за светлое будущее на свою «недоразвитость», непонимание и эмоциональное неприятие марксистом норм *реализовавшейся* коммунистической жизни шаг за шагом, пример за примером проговаривается в романе и иллюстрируется незатейливыми, почти бытовыми зарисовками. Герой романа не понимает, почему невозможно поставить памятник великому инженеру — прадеду его «вербовщика» для полета на Марс (нужно было отобрать наиболее достойного землянина) Мэнни, — задумавшему и воплотившему проект постройки марсианских каналов. Ответ марсианина (на самом деле перодетой в мужскую одежду марсианки) прост:

Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто жил с ним и знает его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда ее уже нет. Наша наука и наше искусство безлично хранят то, что сделано общей работой. Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества<sup>40</sup>.

Землянина раздражает раскованное и ненавязчивое желание марсиан, с которыми он занят общим трудом, помочь ему быстро исправить ошибки, допускаемые им в работе. Это заставляет его чувствовать себя ущемленным. Единственное, что дает ему утешение — это живая любовь марсианки. Здесь он может считать себя победителем. Его дикая страсть, читаемая как переполненность жизнью, ее жадной необузданностью, дает ему некоторое преимущество в глазах его марсианской избранницы:

40. Богданов (Малиновский) А. А. Красная звезда // Богданов (Малиновский) А. А., Лавренев Б. А. Красная звезда. Крушение республики Итль / Послел. А. Ф. Бритикова, А. Д. Балабухи. М.: Правда, 1990. С. 31–32.

Да, мне казалось сейчас, что весь ваш юный мир я чувствую в своих объятиях. Его деспотизм, его эгоизм, его отчаянная жажда счастья — все было в ваших ласках. Ваша любовь сродни убийству... Но... я люблю вас, Лэнни...<sup>41</sup>

Марсианское общество, которое, как мы уже говорили, является более развитым — как технологически, так и цивилизационно (там сильна медицина, продолжительность жизни достигает библейского стандарта и составляет порядка тысячи лет, машины и механизмы воплощают самые заветные человеческие мечты, а представления о справедливости не засорены юридической казуистикой), — становится прекрасной экспериментальной площадкой для того, чтобы мысленно прикоснуться ко всем благам этой будущей жизни. Как правило, экспериментирование не простирается далее этих пределов. Мир марсиан — это просто человеческий мир в будущем. Антропоморфный тип превращается в некий универсальный образец воплощенной природной разумности, а различия между особями разных планет варьируются в пределах, мало отличающихся от пределов, задаваемых климатическими особенностями земных континентов. По сути, это всего лишь другая человеческая раса, точнее, понятие расы оказывается возможным применить не только к существам, обитающим на земной поверхности; оно универсально для всех миров и ландшафтов. Инопланетные миры — это продолжение мира земного. Он немного усложнился. Вместо труднопреодолимых океанических или горных маршрутов в нем появились зияющие космические пустоты, но не более того. Качественно все осталось без изменений<sup>42</sup>. И теперь можно сравнить себя с марсианами, как

41. Там же. С. 95.

42. Было составлено несколько «антропометрических» описаний «типичного» марсианина. Они сильно разнились, и, вероятно, при желании можно было бы придумать какую-нибудь квазинаучную типологию, характеризующую на этом примере приемы писательского воображения — от тривиального трансформирования до сложных агглютинаций. У Герберта Уэллса это спрутоподобные существа с щупальцами и пеной возле рта (что было почти буквально скопировано в мультсериале «Симпсоны»); у Богданова они похожи на людей, за исключением очень больших глаз (и здесь опять советский иллюстратор книги рисует героиню романа, марсианку, лишь слегка подчеркивая указанную разницу в пользу, скорее, земного представления о женской красоте); у Алексея Толстого они щуплые, низкорослые, безбородые, тщедушные, но в принципе похожие на людей (вероятнее всего, была коннотативно затронута тема Средней Азии и, соответственно, восточный фенотип); у Эдгара Берроуза разумные марсиане представлены двумя биологическими видами — «зелены-

когда-то Монтескьё сравнивал обитателей Европы с жителями Востока. Только в данном случае сравнение получается инвертированным. Европейец как бы ставит себя на место аборигена, пытаясь примерить на себя его платье: каково это быть расой, уступающей другим в развитии? Строго говоря, именно это и должно было стать финальным итогом колонизации: сначала определение себя как некой противоположности «Другого» (в земных условиях этим «Другим» стал восточный тип), затем отождествление себя с «Другим» и, наконец, продление заданного отличия в противоположную сторону через нуль-пункт — человека — в область отрицательных или, скорее, мнимых чисел — более развитых инопланетян.

Европоцентризм превращается в некое подобие «гомоцентризма». Если уж центром Вселенной является не земной человек, то пусть это будет некий сходный набор биологических признаков, реализующий себя в качестве доминирующего вида на каждой пригодной для жизни планете. Ересь Николая Кузанского, Джордано Бруно, Христиана Гюйгенса и всех других, кто верил в так называемую множественность миров, а соответственно, и в кощунственную неисчислимость божественных откровений, подменяется апологией тождественности видовых эколого-биологических параметров, допускающих возникновение разумной жизни:

Высший тип, который завладеет своей планетой, есть тот, который наиболее целостно выражает всю сумму ее условий, тогда как промежуточные стадии, способные захватить только часть своей среды, выражают эти условия так же частично и односторонне. Поэтому при громадном сходстве общей суммы условий высшие типы должны совпадать в наибольшей мере, а промежуточные в силу самой своей односторонности представляют больше простора для различий<sup>43</sup>.

Так рассуждает один из героев романа А. Богданова «Красная звезда».

Разительное несходство с людьми марсиан Герберта Уэллса заключается тоже не в нарушении закона равенства исходных предпосылок, а, скорее, в футуристическом прогнозе эволюции разумного «высшего типа» (как называет его марсианин Мэнни в пре-

ми» (имеющими что-то общее с нашими пресмыкающимися) и «красными» (очень похожими на людей; и те и другие откладывали яйца).

43. Там же. С. 44.

дыдущей цитате) в сторону обратного полюса морфологической шкалы. А если принять в расчет научно-фантастические произведения второй половины XX века, то можно проследить, как понимаемая таким образом футуристика последовательно расширяет сферу воздействия разума на неживую, «косную» материю, превращаясь в нечто, внешне неотличимое от нее (вроде Океана в «Солярисе» Станислава Лема). Разумной становится вся планета, что имеет отчетливые пересечения с грезами Вернадского о «ноосфере» и концепцией так называемого постава Мартина Хайдеггера<sup>44</sup>. Мы пока не будем заходить в столь далекие области и, если уж были упомянуты имена философов, ограничимся чем-то вроде маркузианских размышлений.

Но все сказанное настойчиво напоминает нам о чем-то очень знакомом, хотя и немного подзабытом — все эти рассуждения о несходствах, странная притягательность природных «девиаций», легкое волнение при виде новых жестов, необычных одежд, традиций, манер. Сама привлекательность описаний подобного рода должна порождаться какой-то более основательной укорененностью, тесно сближенной с нами и незаметно живущей в нас в виде давно сформировавшихся и уже не рефлекслируемых мыслительных привычек. Чем это назвать? Дискурсивной формацией? Парадигмой? Неявным знанием? Мы говорим о том комплексном мироощущении, которое на рубеже XIX–XX веков сделало востребованным появление таких инструментально детерминированных познавательных индустрий, как практика расовой детерминации, физическая антропология, этногеография и т. д.

Некоторые авторы довольно подробно описывают общественные институты марсиан и их влияние на образ жизни, психоло-

44. Согласно стандартной формулировке, постав дает возможность высвободиться, произрасти той части природного, которая «не про-из-носит самое себя» (Цит. по: Бимель В. Мартин Хайдеггер, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Челябинск: Урал LTD, 1998. С. 213). То есть, используя оригинальную терминологию Хайдеггера, чтобы достичь присутствия в мире, «стать присутствующим», ей необходима живая человеческая участность, без которой она останется скрытанной в небытии. Образование души, способной на такую участность, обеспечивает уникальный эффект аккумуляции, фокусировки, которая нацеливает и питает постав, высвобождая утаенную, «молчаливую» часть природы через объединение ее с особым образом выстроенной и, следовательно, подчиненной, прикованной к ней человеческой душой. Именно в этом смысле, по мнению Хайдеггера, техника представляет для человека опасность — нечто, что «грозит ускользнуть из-под власти человека» (Там же. С. 209).

го-эмоциональную конституцию, практики элиминации нарушений, попутно давая оценку всего, что довелось увидеть и пережить их героям. Например, почти все они пишут об институтах биологического воспроизводства инопланетных рас. «Зеленые» марсиане Берроуза не знают, что такое семья. Совет мудрейших производит тщательный отбор биологически оптимальных пар, а получившиеся от их союза яйца отправляются в «холодильник», в котором они проходят еще несколько проверок. Лишь десятая часть всех яиц помещается в инкубатор, из которого выходит совершенное потомство, воспитываемое уже случайно выбранными, а не биологическими родителями (точнее, «мами»-марсианками, поскольку мужчины заняты войнами и борьбой за лидерство в клане). Это позволяет, с одной стороны, следить за качеством воспроизводства, с другой — контролировать рождаемость на планете, ресурсы которой почти исчерпаны. Отступление от этого закона (то есть не поднадзорная любовь) карается смертью. Такое разделение полового труда позволяет достичь потрясающей эффективности в стратегиях выживания, снабжает зеленую расу почти безупречным кодексом чести, делая избыточным гражданский суд, но сильно обедняет эмоциональную жизнь марсиан, превращая все проявления мягкости и милосердия в «слабость и атавизм». Джон Картер, герой романа Берроуза, говорит:

Я думаю, что эта ужасная система, которая применялась у них веками, явилась прямой причиной утраты всех тонких чувств и более высоких человеческих инстинктов у этих бедных созданий. От рождения они не знают ни отцовской, ни материнской любви, они не понимают значения слов «у себя дома», им внушают, что их существование только терпимо, пока они не докажут своей физической силы и жестокости, не докажут, что они пригодны к жизни<sup>45</sup>.

Контролируемая рождаемость, расход избыточного населения в войнах и внутренних распрях и в результате — гармония. По сути, речь идет об обновленном мальтузианстве.

Символика, сюжеты, отдельные зарисовки этих романов, поднимаемые в них проблемы — все это неизбежно замыкается на эпоху, прочно ассоциируемую с колониализмом. (Пора, наконец, произнести это слово не между прочим, а придав ему акцен-

45. Берроуз Э. Р. Дочь тысячи джедаков. М.: Гелеос, 2002.



тированное звучание<sup>46</sup>.) В начале XX века то, что раньше было сутью вещей, не отделяемой от осмысленной реальности «среднего европейца», раскрывается в новой перспективе, которая позволяет отслоить перформативные стратегии познания-захвата и запустить маховик рефлексии в отношении уже прочно и безвозвратно свершившегося *нечто* (насилия? дискриминации? воцарения бэкониянского девиза «Знание — сила»? формирования дисциплинарной структуры познания, легшей в основу торжества европейской цивилизации? Речь идет об эпохе, со всеми ее за и против, о некоем возрастном цивилизационном преодолении, точнее, о его этиологии). И здесь, как и ранее, мысль об исчерпанности возникает как следствие прямого опыта *замыкания земного пространства*. Соответственно, переключение писательской фантазии на другие миры можно рассматривать как инерцию еще не исчерпанного колониального воображения, но не в том тривиальном смысле, что «читать о землянах стало уже не интересно», то есть не в смысле читательской пресыщенности<sup>47</sup>. Это было скорее жестом, с одной стороны, самооправдания (весь мир

46. Собственно, связь ранней научной фантастики с колонизацией начинает эксплицитно проговариваться уже у Жюль Верна. Например, в его произведении «Из пушки на Луну» один из героев, француз Мишель Ардан, отвечает на скептический вопрос своего попутчика капитана Николя: «Да, — прибавил капитан, — если я не знаю, куда иду, то хочу знать, зачем я иду. — Зачем? — закричал Мишель, подпрыгивая на целый метр. — Ты хочешь знать зачем? Затем, чтобы именем Соединенных Штатов завладеть Луной! Чтобы присоединить новый штат к Союзу. Чтобы колонизировать лунные области, обработать их, заселить, перенести туда все чудеса науки, искусства и промышленности! Сделать селенитов образованными людьми, если они уже не образованнее нас, и... учредить у них республику!»

47. Такой нехитрый ответ дается анонимным автором «Википедии»: «Планетарная фантастика развилась как продолжение приключенческих романов, в том числе из  *pulp-журналов* конца XIX, начала XX века, действие которых переносилось на другие планеты. Как и в *космической опере*, фантастический элемент поначалу привносился незамысловатым способом: смелый авантюрист, обычно родом из Западной Европы или Северной Америки, становился космическим путешественником, Азия и Африка в роли экзотических мест заменялись чуждыми планетами, а туземцы — инопланетными обитателями» (курсивом в цитате обозначены гиперссылки). Но в «Википедии» не приведены никакие доводы в пользу такой трактовки. Чем она является, отзвуком каких дискуссий? И в данном случае это важнее самого утверждения, поскольку за его анонимной всеобщностью невозможно различить четкого аксиоматического базиса, а их может быть много, причем самых разных и зачастую весьма конфликтных.

устроен именно таким образом, и все, что произошло, — в природе самих вещей), с другой — заговариванием страхов грядущего «возмездия», поскольку размещение доминирующего и доминируемого на одной шкале и продление этой шкалы в обе стороны от реализованной оппозиции неизбежно предполагают потенциальное существование оппозиций не столь выигранных, как осуществившаяся, где полюса отношений доминирования меняются местами.

Теперь, когда высказаны все предварительные соображения, настало время перейти к основной теме нашего рассмотрения — советской фантастике. Мы уже поняли, что она не была чем-то неожиданным в литературном отношении. Более того, Серебряный век оказался чрезвычайно богат фантастическими сочинениями. И в том, что эта тенденция продолжилась в преображенной России, было больше нормы, чем нарушения. В этом жанре пробовали себя и Валерий Брюсов, и Федор Сологуб, и Александр Куприн, и Андрей Платонов, и великое множество других, менее известных авторов. Кто помнит, например, такого писателя, как Симон Савченко (псевдоним — С. Бельский)? Если говорить о других течениях культуры того времени, то можно вспомнить художественное авангардистское движение футуризм, рождение идеологии технократии (равно как антимодернизма) и многое, многое другое. И все же советская фантастическая литература образует новое обособленное литературное явление, что я и собираюсь показать далее. Следуя заявленной выше диспозиции, я сосредоточусь главным образом на трех авторах, каждый из которых выбрал для реализации своего творческого проекта отдельную космическую зону. Это Александр Беляев (небо), Григорий Адамов (подземье) и Владимир Обручев (Земля и ее обитаемая «изнанка»). Произведения этих авторов структурировали пространство советского космического воображения наподобие трех ортонормированных векторов в декартовой геометрии. Эту гипотезу можно отнести к разряду «сильных» (в методологическом смысле этого слова), а потому легко критикуемых, но именно ее я буду придерживаться далее. Я помню предостережение о том, что абстрактные системы могут «ослеплять воображение смелостью следствий, к которым они приводят»<sup>48</sup>. И все же, поскольку целью настоящего эссе является не столько поиск истины, сколько расстановка новых ориентиров, я решусь на этот риск.

48. Кондильяк. Трактат о системах // Соч.: В 3 т.: М.: Мысль, 1980. Т. 2. С. 24.

## Небо

Беляев — самый «беззаботный» из выбранной нами тройки советских фантастов. С одной стороны, его фантазия не перегружена рефлексией в отношении «коренной ломки души», которую естественно было бы ожидать в человеке, переживающем опыт первого советского государственного строительства и тем более репрессий 1930-х годов (именно тогда он писал свои последние романы), в чем он сильно отличается, например, от Адамова. С другой стороны, у него не было опыта ни продолжительных странствий, ни включенности в суровую реальность дисциплинарных принуждений современного ему академического истеблишмента (как это было у Обручева), поэтому его произведения наиболее фантазийны. Их нельзя рассматривать как *в том числе популяризацию*, как это было у хотя и своеобразных, но все же учеников и продолжателей Верна — Адамова и Обручева. Его предшественники — это, скорее, Грин и Толстой. (И не случайно, что на исходе жизни он пишет «Ариэль» — роман, являющийся, по мнению многих, продолжением фантазии Грина «Блистающий мир».) Он просто берет описание будущего у кого-либо из авторитетных авторов футуристических прогнозов и накладывает на него игру своего писательского воображения. Едва ли не главным автором, обильно насытившим его представления о технологических возможностях будущего человечества, был Константин Циолковский.

Есть как минимум два романа Александра Беляева, в которых он прямо пишет о космических путешествиях: «Прыжок в ничто» (1933) и «Звезда КЭЦ» (1936). В первом из них описывается бегство в космос последней оставшейся на Земле знати от разразившейся всемирной коммунистической революции, а во втором — космическое путешествие в эпоху победившего коммунизма. Фабула романа «Прыжок в ничто», посвященного Циолковскому и удостоенного его краткого хвалебного отзыва, развивается в обстоятельствах еще не коммунистических, но уже накануне мировой революции, когда десяток богатейших людей планеты спасается от «советов» на космическом «ковчеге», построенном для них талантливым инженером Цандером. Если опираться на такой критерий, как интенсивность писательской рефлексии, то центральной темой этого романа является проблемное отношение к технике, и это было безусловным новшеством (к слову сказать, не вполне оцененным современниками), поскольку в предыдущих романах подобного рода техника и научно-технический прогресс вос-

принимались в исключительно позитивной, жизнеутверждающей перспективе, как учили такие мыслители, как, скажем, Эрнст Капп или Петр Энгельмейер, да и сам Константин Циолковский. В романе Беляева этот вопрос размещается в сложном проблемном поле, начиная от моделей политического поведения «технократа» Цандера и заканчивая откровенно критическими высказываниями в адрес техники философа Шнирера (прототип которого неизвестен, но, принимая во внимание особенности творчества Беляева, несомненно должен был существовать<sup>49</sup>). Ближе всего взгляды Шнирера соотносятся с философией Жака Эллюля, но первые произведения этого автора появляются только в начале 1940-х годов. Это можно отнести к одной из загадок как этого романа, так и самого Беляева, обладавшего, по всей видимости, незаурядной интуицией.

В романе «Прыжок в ничто» один из главных героев романа, крупный специалист по реактивным двигателям Лео Цандер, попадает в типичную для технократа ситуацию конфликта между ценностными и рациональными ставками в процедуре принятия политического решения. У него нет явных политических предпочтений, но это совсем не означает, что он не стремится к доминированию. Просто для того, чтобы доминировать, ему не обязательно участвовать в революционной борьбе, в отношении которой (равно как и в отношении консервативных и реакционных движений) он выказывает откровенный саботаж. Его сила проявляется иначе — через медленное вытеснение традиционных элит растущим влиянием своей власти как технического эксперта. Выведя «ковчег» в космическое пространство, он получает практически абсолютную власть над его обитателями, поскольку все остальные имеют лишь очень слабое представление о том, как управлять этой сложной машиной и поддерживать режим жизнеобеспечения в ходе длительного космического путешествия. В результате перед ним начинают заискивать обе «партии» корабля — как «старая» (аристократия, духовенство и буржуазия), так и «новая» (нелегально проникшие на «ковчег» агенты большевиков). Цандер, вполне в духе классического технократического диспозитива, выдерживает нейтралитет. Он понимает, что может с равной эффективностью обслуживать любую из этих групп, получая соответствующие дивиденды, и явным образом демонстри-

49. Вполне вероятно, что это был кто-то из его не слишком известных знакомых, начитавшихся, например, Рене Генона и разделявших идеологию نابравшего обороты антимодернизма.

рует то, что Анжел Сентено назвал «„хамелеонной“ когнитивной организацией» технократа<sup>50</sup>.

Заочным критиком такой позиции Цандера является философ (единственный интеллектуал на «ковчеге») Шнирер. Они не становятся с Цандером в открытом противостоянии, да и сложно было бы представить, чтобы Цандер снизошел до открытого спора со Шнирером. Слишком уж очевидно его социально-силовое превосходство над абстрактным философом. Поэтому Шниреру остается только сотрясать воздух своими полными негодования тирадами:

Цивилизация гибнет! Она обречена, и ее губит машина, это железное чудовище. Хозяин земли становится рабом машины. Она заставляет нас, всех без исключения, знаем ли мы и хотим ли мы этого или нет, идти по ее пути. Бешено несущаяся колесница волочит за собой поверженного победителя, пока он не погибнет... Человеческие существа, столь заботливо вскормившие этих диких и опасных зверей, проснулись и нашли себя в окружении новой расы железных чудовищ, господствующей над ними. <...> Необходимо еще сильнее взнудать науку, задержать рационали-

50. *Angel Centeno M. The New Leviathan: The Dynamics and Limits of Technocracy // Theory and Society. 1993. Vol. 22. № 3. P. 312.* Кроме того, в работах Дэниела Белла, Дона Прайса и Джона Гэлбрейта было убедительно продемонстрировано, что техническая интеллигенция отнюдь не является идеологически нейтральным классом (см. работы этих авторов в сборниках: *Price D. K. The Scientific Estate. Cambridge: Harvard University Press, 1965; Bell D. The Coming of Post Industrial Society. N.Y.: Basic Books, 1976; Galbraith J. K. The New Industrial State. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin, 1985*). Проникая в высшие эшелоны государственной власти, они способны обеспечивать своим институтам положение господствующих организаций в наиболее важных областях общественной жизни, поскольку развитие производства включает в себя не только технические новации, но и новые формы организации управления, выработку принципов экономической политики, организацию финансирования, политическое соперничество профессиональных групп, форму экспертных оценок, формирование коллективных ожиданий, переоценку культурных норм, перераспределение материальных ресурсов и т. д. (хорошей иллюстрацией этого тезиса может служить исследование: *Hughes T. Networks of Power: Electrification in Western Society 1890–1930. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983*). Таким образом, власть технократии осуществляется не столько через следование той или иной идеологии, предполагающей более или менее автократичные решения, сколько через административное господство, навязывающее выгодную для себя на данный момент политическую парадигму.

зацию, зажать технику, удушить изобретательство, иначе гибель цивилизации и наша гибель неизбежны<sup>51</sup>.

Останься он на Земле, у него, наверное, были бы шансы найти себе союзников в лице каких-нибудь агентов репрессивных организаций и, примкнув к ним, жестоко расправиться со своим идеологическим соперником. Но здесь, на «ковчеге», он абсолютно бессилен, это он «волочится за колесницей», управляемой умелыми движениями его безжалостного визави Цандера.

Репрессивный потенциал технократии начинает сразу же проявляться в решительных действиях Цандера по переустройству традиционных «земных» отношений между «плебсом» и «аристократией» на «ковчеге». Он заставляет представителей «аристократии» заниматься в том числе физическим трудом, мотивируя это технологической необходимостью поддержания на корабле условий, необходимых для проведения в космосе неопределенно долгого времени. Всем находится работа. И у «аристократов» не получается сопротивляться Цандеру, его с каждым днем все более и более ужесточающимся требованиям:

Все вернулись в кают-компанию подавленные. Тотчас было созвано экстренное совещание всех обитателей ракеты, без деления на ранги и классы. Вопрос был слишком важен и затрагивал каждого. По существу, это уже не было совещанием. Никто не решался предлагать своих проектов, планов, как выйти из положения. Время и обстоятельства создали Цандеру непререкаемый авторитет. Уже без ворчания на его «диктатуру» все смотрели только на него, ждали, что скажет он<sup>52</sup>.

Пик этих внутренних социальных преобразований в масштабе одной космической команды приходится на обустройство жизни путешественников после вынужденной посадки на Венеру вследствие случившейся на «ковчеге» аварии. Каждому выделяется свой надел венерианской почвы, на котором тот должен взрастить урожай. «Опустившаяся» морально и гигиенически «аристократия» губит семена и задумывает совершить переворот, чтобы отнять у «плебса» их урожай, а их самих обратить в рабство. Но те, вполне в духе марксистской этики первого периода советского режима, согласно которой высший гуманизм заключается

51. Беляев А. Вечный хлеб; Последний человек из Атлантиды; Прыжок в ничто; Золотая гора. М.: Правда, 1988. С. 179–180.

52. Там же. С. 328.

в физическом уничтожении представителей враждебных классов<sup>53</sup>, улетают на починенном корабле, оставив «аристократов» один на один с опасной фауной богато обитаемой Венеры (правда, захватив с собой философа Шнирера и его дочь).

Это очень показательный фрагмент романа, который имитирует классовые отношения первых революционных лет локальной обстановкой, возникшей на космическом корабле. Здесь видна квазикомпромиссная тактика большевиков, оборачивающаяся открытым предательством, что было непосредственно знакомо Беляеву по опыту жизни в революционный и близкий постреволюционный периоды. Нельзя забывать, что сам полет оказался возможным благодаря огромным денежным вложениям «аристократии» в проект «ковчега», что некоторые представители «аристократического» лагеря (например, спортсмен-экстремал лорд Генри Блоттон) предприняли незаурядные усилия, чтобы спасти от мучительной смерти наиболее активных представителей «плебса», попавших в плен к «шестируким» обитателям планеты. Тем не менее старая буржуазная мораль ничего не значит для представителей нового свободного мира. Ею легко пренебрегают во имя достижения светлых целей обновленного человечества. Именно так и должна выглядеть воплощенная реальность классовой войны<sup>54</sup>.

В остальном фабула романа вполне согласуется с типичными представлениями начала XX века об обитаемых мирах. Венера обильно заселена, и разнообразие обитающих на ней биологических видов сильно напоминает Землю кембрийского периода. Впрочем, на ней есть и высокоорганизованные животные, напоминающие земных приматов, но обладающие шестью конечностями. То есть, по сути, речь идет об эпохе, которая на Земле уже давно миновала, и в этом своем аспекте роман несколько не выбивается из ряда других произведений аналогичного жанра. Однако напомним, что Беляева никак нельзя причислить к фантастам-популяризаторам. Он использует сциентистские прогнозы, но его фантазия не скована жесткими регламентациями организованного научного мышления. Он работает, скорее, внутренним писательским чутьем, позволяющим ему *угадывать* повороты сю-

53. Эволюция советской идеологии в логике социологии понятий очень подробно и качественно описана в книге: Бикбов А. Т. Грамматика порядка: историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014.

54. Согласно Александру Бикбову, «социалистический гуманизм» в 1930-е годы определялся через классовую ненависть (см.: Там же. С. 29 и далее).



жета, способные привлечь читательский интерес. И в этом угадывании чувствуется некая детерминированность, не имеющая прямого отношения к строго материалистическим научным данным. Если они и возникают, то в виде *символического* ряда, имеющего свой, отнюдь не рациональный канал воздействия на читателя. Можно только догадываться, какого труда стоило Беляеву осуществлять свой творческий поиск, не прибегая к стандартным научным лекалам и не имея под рукой шкафчика со специализированной научной литературой (что практиковалось начиная с Жюль Верна, и современники Беляева — Адамов и Обручев — не стали в этом смысле исключением). Что самое удивительное, ему действительно удается попадать в унисон с едва различимыми вибрациями читательского интереса, что заставляет относиться к нему как к по-настоящему незаурядному автору.

Другой роман Беляева, посвященный теме космических путешествий, — «Звезда КЭЦ» — повествует о реальности уже построенного коммунистического общества. Мировая революция свершилась, коммунизм победил на всей планете. Но это не суровый коммунизм Богданова (Малиновского), построенный марсианами, который в буквальном смысле сводит с ума главного героя романа — передового марксиста и профессионального революционера Лэнни (Леонида). Коммунизм Беляева не столь тщательно продуман, в нем никак не затрагиваются вопросы соотношения всеобщего благополучия и индивидуальной свободы. Это, скорее, легкая и немного злая фантазия на тему коммунистических отношений, в которой основной нерв повествования вьется вокруг личных (в основном любовных) переживаний главного героя Леонида Артемьева, направленных на его общественно и научно-активную соседку Тоню, чувствующую его симпатии к себе, но до поры до времени игнорирующую его знаки внимания (впрочем, действительно, немного неуклюжие) и иронизирующую по поводу его социальной безынициативности. Артемьев устремляется за своей возлюбленной в далекое космическое путешествие, о котором он раньше и подумать не мог, и претерпевает множество различных космических приключений, кульминацией которых становится путешествие на Луну в составе экспедиции из трех человек.

В целом этот роман, действительно, вполне подходит под категорию «утопия». В нем предполагалось описать счастливую жизнь человечества при коммунизме. Но уже на первых страницах этого, казалось бы, позитивного сочинения начинают одна за другой появляться (и все в возрастающем количестве) дискри-

минационные детали, что полностью перечеркивает исходный замысел романа и превращает его в горькую пародию, призванную не столько восславить, сколько очернить будущую счастливую жизнь. Старику астроному, наблюдателю космической обсерватории (естественно, белому и русскому), прислуживает негр-итенок из Флориды, который прибыл на станцию со своей обезьянкой (*sic!*). Сам старик, сделавший в своей космической обсерватории открытий «на двадцать Галилеев»<sup>55</sup>, весьма высокомерно относится к астрономам, работающим на Земле, и совсем не спешит делиться с ними своими находками. Казалось бы, исчезновение соперничества между мировыми державами должно было привести к полной аннигиляции того, что принято называть ощущением превосходства, но начало космической эры и появление у экспансии третьего измерения меняют расстановки традиционных отношений доминирования и переключают колониальную логику проецирования господствующего мышления извне вовнутрь. Отсюда и странное высокомерие старика-астронома Тюрина, которому и сам Галилей не брат, в отношении своих же «бескрылых» коллег.

Изменения, произведенные на Земле после воцарения на ней коммунизма, вероятно, разъярили бы сторонников эко-феминистской эпистемологии. Даже малая доля издевательств над естественной экосистемой Земли (надиктованных когда-то Циолковским) могла иметь катастрофические последствия для всей планеты. Тропические джунгли Африки расчищаются под культурное земледелие:

Сплошная стена непроходимого тропического леса пылает в огне. На пепелище стоят огромные фургоны — коробки из металлической сетки на стальных каркасах. В них копошатся люди, выкорчевывая небольшими машинами пни<sup>56</sup>.

Кроме того, Беляев описывает: световые столбы, отапливающие тундру и вызывающие таяние вечных льдов; управление атмосферным электричеством и магнитным состоянием Земли; превращение пустынь в оазисы и т. д. и т. п. На первый взгляд, он начинает мыслить в верновской традиции. Природа для него — исключительно безропотный субъект подчинения, оробевший при виде возросшей человеческой мощи. Как будто забыв уэллсов-

55. Беляев А. Р. Звезда КЭЦ // Он же. Человек-амфибия; Повести. М.: Правда, 1985. С. 230.

56. Там же. С. 210–211.

ский страх перед другими мирами, он не воспринимает ее как нечто потенциально опасное. Даже космическое пространство полностью подвластно воле человека, где он способен творить все, что ему вздумается. Но так ли это на самом деле? Вполне возможно, что в этой легкой озлобленности небрежного и неререфлексирующего описания технологических «достижений» общечеловеческой цивилизации сквозит раздражение человека, принуждаемого к тому, чтобы писать «идеологически правильные», оптимистические вещи о «техническом прогрессе»<sup>57</sup>.

Наступательная идеология героев Беляева не снимается покорением Земли. Она простирает себя дальше, ничуть не преобразившись от, казалось бы, трансформирующего опыта замыкания земной поверхности, который должен был бы образовать контур одушевленного, лично окрашенного отношения к ней. В романе все не так. Земля — это всего лишь грядка, стратосфера — межа, а выход за ее пределы — тривиальный поиск новых удобий. Обзаведшись новыми технологическими орудиями, человек не смог оставить своих неолитических привычек. Теперь полезные металлы и минералы можно собирать из космического пространства, улавливая вещество, рассеянное в Солнечной системе. И Земля, и Космос — это только ресурс, а человек — полновластный хозяин в этом широко распахнувшемся мире. Старик астроном Тюрин, рассуждая о Луне, которой, согласно его предположениям, рано или поздно суждено «разлететься на мелкие части» и образовать вокруг Земли пояс, подобный кольцу Сатурна, предлагает во время путешествия по лунной поверхности не дожидаться этого, а самим взорвать ее, ускорив естественный процесс:

Да, жалко нашей старушки Луны, — продолжал он, глядя в мрак трещины. — Гм...гм... А может быть, и не ждать неизбежного конца, а ускорить его? Если в эту трещину заложить тонну нашего потентала, то этого, вероятно, будет достаточно, чтобы разо-

57. В одной из биографий Беляева можно прочесть следующие строки: «Помимо бытовых проблем и проблем со здоровьем, большие проблемы возникали и с изданием произведений: редакторы их безжалостно сокращали, переделывали. В то время в литературе особо важной темой считался технический прогресс. В угоду этому рассказ „Звезда КЭЦ“, по воспоминаниям дочери писателя, „был настолько сокращен, что превратился... в технический справочник“. Только значительно позже удалось восстановить, а затем и увеличить первоначальный авторский текст» (Беляев Александр Романович (1884–1942) // Русская фантастика. URL: <http://www.rusf.ru/litved/biogr/belyaev.htm>).

рвать Луну на части. Уж если суждено ей погибнуть, то, по крайней мере, пусть это произойдет по нашей воле и в назначенный час<sup>58</sup>.

Беляев как может цепляется за единственную *terra incognita* своего романа — индивидуальную человеческую душу, которая продолжает преподносить сюрпризы в виде любовных переживаний, ограниченных возможностей самоконтроля, проблем, связанных с необходимостью делать выбор, и т.д. Но и эти сугубо личностные проявления непокорности и своеобразной стихийности в конечном счете сглаживаются, встраиваясь в общий гармоничный лад коммунистической жизни, воцарившейся на планете. Его возлюбленная слишком анемична, инертна и вместе с тем слишком подчинена господствующим представлениям. Ей и в голову не приходит простая мысль о том, что запреты придуманы в том числе для того, чтобы их нарушать. Ее любовь — пресная, сытная и здоровая, как ячменная лепешка с сосновой заболонью, — не оставляет герою шанса на полноценное безумие. Она как-то заранее отяжелела грузкой и покорно встроилась в плотные ряды не менее грузных «масс», для которых освоение внеземных пространств — не столько совершение невероятных открытий, сколько своеобразный «техпроцесс» вовлечения сухого и омертвело-го человечества в агрессивную холодную и бездушную реальность пустоты открываемых перед ним перспектив. Не вызывает сомнений, что это был не самый любимый роман Беляева, написанный им в не самую лучшую пору его жизни.

Кульминацией этого произведения Беляева является путешествие на Луну трех специалистов с КЭЦа. Высадка на Луну — это, несомненно, разведывательная операция по колонизации, о чем открыто заявляет командир корабля геолог Соколовский: «Скоро здесь небесные колонии будем строить»<sup>59</sup>. Состав этой тройцы, прибывшей для того, чтобы сделать первый шаг на пути к покорению Луны, весьма символичен. Он как бы соотносится с тремя архаичными стихиями, упоминаемыми практически во всех мифологиях мира. На Луну полетели геолог, астроном и биолог, что легко увязывается с иерархией трех мировых зон. Возрастное соответствие также обнаруживает некоторые корреляции с архаичным пониманием миропорядка. Старое, «древнее» небо ассоциируется со стариком астрономом Тюриным (в повести часто ис-

58. Беляев А. Р. Звезда КЭЦ. С. 273–274.

59. Там же. С. 243.

пользуется словосочетание «траурное небо»); «зрелая» земля (или, скорее, «подземье», поскольку речь идет о геологии) — с геологом Соколовским, среднего возраста; а находящаяся между ними молодая, живая, наивная, влюбчивая, спонтанная и увлекающаяся жизнь — с молодым биологом Артемьевым, прибывшим на звезду КЭЦ отнюдь не из рациональных соображений, а в слабой, но тем не менее осуществившейся надежде услышать от своей возлюбленной слова, дающие надежду на взаимность. Трудно сказать, насколько осознанно Беляев выбирает именно такой состав участников экспедиции. Но если это оказалось на кончике его пера в результате бессознательного наития, то такую «проговорку» можно считать еще более показательной.

Беляев что-то говорит (устаами своих героев) об уже зарождающемся ощущении опасности, которая может исходить от космоса. Об этом уже в самом начале повести сообщает одна из интереснейших героинь романа — доктор Мёллер, штатный врач звезды КЭЦ:

Эта легкость «небесной жизни» сильно беспокоит меня. Вы не ощущаете или почти не ощущаете своего тела. Но каковы будут последствия?.. что будет через десяток лет?.. Весьма вероятно, что кости наших потомков будут становиться все более хрящевидными. Мышцы атрофироваться. Это первое, что беспокоит меня как человека, отвечающего за здоровье нашей небесной колонии. Второе — космические лучи<sup>60</sup>.

Но, оптимистично заключает доктор Мёллер:

В конечном счете все в наших руках. Все вредные последствия мы можем устранить<sup>61</sup>.

Почти в финале романа двое «колонистов» все же заболевают странным психосоматическим расстройством, сложно поддающимся диагностированию. Но их изолируют, подвергают обследованию, и у читателя не возникает сомнений, что их в конечном итоге вылечат. И все же на фоне чувства высокой трагичности, пронизывающего роман в его инфравербальном диапазоне, эта тривиальная экспликация выглядит почти как анекдот, горькая ирония или мстительное желание автора посмеяться над столь же наивной, сколь и чванливой надменностью как редакторов, без-

60. Там же. С. 235.

61. Там же. С. 236.

жалостно кромсающих его текст, так и своих беспечных современников-читателей, оставивших его в горьком одиночестве. Еще более отчетливо тема этого неартикулируемого трагичного ожидания (забегая вперед, скажем, что этот мотив — появление в произведении второго уровня, маскирующегося под внешне оптимистичной главной фабулой, — является одной из основных отличительных черт советских фантастических произведений) звучит в романе другого выбранного нами автора — Григория Адамова.

## Подземье

Все интересующие нас авторы начали свою писательскую карьеру фантастов довольно поздно, когда им было уже за сорок. То есть никто из них в первую половину своей жизни не рассматривал литературу как единственное призвание. И поэтому количество написанных ими литературных произведений относительно невелико. Григорий Адамов не был исключением. Здесь мы сосредоточимся главным образом на одном его романе (первом из трех написанных) — «Победители недр». В романе описывается эпоха технологически развитого социализма. Инженер Мареев выдвигает смелый проект постройки электростанции, в которой предполагается задействовать практически неисчерпаемый источник энергии — разогретые недра Земли. Для этого строится особый снаряд, который должен доставить термоэлементы на глубину пятнадцати километров. Снаряд управляется командой из трех человек (Мареев, Малевская и Брусков), но на борт пробирается «заяц» — пионер Володя, тайно проникший на «подземеход» и внепланово ставший членом его команды. Появление лишнего пассажира осложняет положение команды, поскольку ресурсы жизнеобеспечения «подземной лодки» рассчитаны только на троих (в особенности — кислород), но именно Володя окажется тем человеком, который спасет команду от неминуемой гибели в конце путешествия.

Все три автора чувствуют переходный характер эпохи, в которой они живут. Всех их одолевает смутное ожидание перемен, которые вот-вот случатся. Их сознание открыто для вторжения этой новизны, они ждут ее с нетерпением и плохо скрываемым волнением. И все эти ожидания так или иначе основаны на технократических антиципациях. Но если Беляев черпает свои технологические «откровения» из уже готового набора далеких футуристических прогнозов, заимствованных у Циолковского (а следовательно, главным образом космических, в современном значении этого слова), то поэтика Адамова наделяет трансфор-

мирующими свойствами близко прилегающую к нам реальность (его произведения часто называли «фантастикой ближнего прицела»). Мы как бы уже закованы в «кокон», внутри которого осуществляется это преобразование, хотя не каждый отдает себе в этом отчет. Отсюда и несходства в образном строе этих произведений. Если у Беляева образом человечества является «ковчег», несущийся в космическом пространстве, то у Адамова это тесно зажатый в земных породах «снаряд», что невероятно обостряет ощущение причастности к тайне творимого технологического метаморфоза. В образах Адамова вообще много телесности и скрытых эротических коннотаций, но сам снаряд, в свою очередь, коннотирует образ куколки, внутри которой каждый из героев претерпевает свой метаморфоз и выходит из-под земли преобразенным.

По структуре роман Адамова «Победители недр» очень напоминает роман «Из пушки на Луну» Жюль Верна, правда, с инвертированным вектором технологических устремлений<sup>62</sup>. Даже сцена отравления кислородом воспроизведена если не аутентично, то очень похоже. Дерзкий проект Мареева, обретя доверие широких масс и взволновав воображение нации, мобилизует технологические и инженерные ресурсы страны и делает *соучастниками* этого авантюрного предприятия *всех* советских людей. В какой-то своей очень глубокой основе это повторение проекта 1917 года, но уже не в социальной, а в технологической сфере. Советская футуристическая и фантастическая литература межвоенного периода XX века была нацелена на реализуемость близкого и решающего технологического прорыва. Казалось, пройдет несколько десятилетий и мир изменится до неузнаваемости. Как и у Верна, роман содержит массу научных и технологических подробностей и, по сути, может быть прочитан как научно-популярное произведение. Невозможно точно ответить на вопрос, было ли это страховочным «довеском», легализующим появление подобных произведений, даже если их художественная ценность окажется близкой к нулю, или своеобразным каноном, заданным одним из первых провозвестников нового жанра Жюлем Верном.

В отличие от Беляева, технократы в социалистическом обществе, которое рисует нам Адамов, *не правят*. Здесь полностью со-

62. Имя Верна упоминается в романе, но исключительно со снисходительно-ироничными интонациями: «Жюль Верн писал для тех, которые даже не знают, что такое геотермический градиент! <...> ...зачем ты взъелся на старика?» (Адамов Г. Победители недр // Он же. Победители недр. Изгнание владыки. Фрунзе: Киргизское государственное учебно-педагогическое издательство, 1958. С. 137–138).



хранено традиционное разделение функций между исполнителями сложных технологических проектов и бюрократическими элитами с явной гегемонией последних. В принятии политических решений доминирует не стремление к максимальной гармонизации человеческих отношений с бездушной, но *одушевляемой* природой, а вполне сакраментальная рациональность ценностно ориентированной кремлевской бюрократии. Герои романа, те самые «победители недр», испытывают священный трепет, когда в награду за их подвиг им позволено посетить святую святых советского политического истеблишмента — Московский Кремль:

Тишина и прохлада широких вестибюлей и лестниц, бесконечных коридоров, высоких сводов, торжественная тишина лабораторий, где рождаются величайшие замыслы и исторические решения, наполнила трепетом и смущением сердца Мареева, Малевской, Брускова и Володи<sup>63</sup>.

Во главе всего и вся стоит признанный и почти обожествляемый политический лидер, не названный по имени, но слишком легко узнаваемый, чтобы можно было ошибиться. И если это не Сталин, то тем хуже, поскольку в данном случае канонизируется не сам вождь с его индивидуальными личностными качествами, а созданный им тип деспотичного управления:

Распахнулись высокие белые двери.

В глубине обширной, светлой, скромно обставленной комнаты из-за рабочего стола поднялась знакомая фигура горячо любимого вождя. С улыбкой, исполненной радости и теплоты, он протянул руки навстречу входившим...

И как будто вся страна — великая, могучая, счастливая — вместе с ним поднялась и шла с приветом и отцовской лаской навстречу четырем героям — победителям таинственных подземных недр<sup>64</sup>.

Экстериорность Беляева, позволившая ему угадать символически нагруженные образы, применяемые для идентификации главных космических зон (что особенно явно проявилось в описании экспедиции на Луну), и тем самым отыскать путь к читатель-

63. Там же. С. 280.

64. Там же. Просматривая интернет-издания этого произведения, я с удивлением обнаружил, что процитированные фрагменты романа (этот и предыдущий) не включены в текст. Вероятно, в изданиях постсталинского периода эти завершающие фрагменты романа были удалены.

скому равнодушию, ведомому очень давними и сильными инстинктами, подменяются у Адамова глубокой, тектонически насыщенной интерьерностью. Образы Адамова, пишущего о подземье, погружают нас в самосозерцание. Они инфравизуальны — начиная от аппаратуры Малевской, позволяющей видеть (и даже фотографировать) невидимое, и заканчивая ровным гулом моторов и шорохом сыпавшейся породы, которые вызывают у героев чувство спокойствия и глубокой внутренней сосредоточенности. Если внимательно вчитаться в это произведение, то наряду с традиционным и дежурно предъявляемым сюжетным рисунком можно увидеть или, скорее, почувствовать параллельную образную основу, повествующую о непрерывной, насыщенной работе, совершающейся в сознании как самого автора, так и его героев. Адамов искусно использует обнаруженный им литературный прием, постоянно возвращая читателя к неразличимой, казалось бы, для посторонних динамике внутренних переживаний. Артикуляционным орудием пробуждения такого рода чувствительности становится «гул», «гудение» (а иногда и «рев»). Обрисовка этого «гула» в самых разнообразных ситуациях и контекстах имеет отчетливые параллели с душевными состояниями героев — от ровного спокойствия и уверенности в себе до тревоги или эйфории (если брать противоположный полюс этой шкалы). Отсутствие же всякого звука неизбежно замыкается рефлексией на тему смерти и загробного мира.

Опять тишина наполнила помещения снаряда — безмолвная, мертвая тишина. Володя мучительно ощущал и боялся ее.

В этой тишине с устрашающей реальностью, почти физически он чувствовал невероятную тяжесть толщи, нависшей над ним и поглотившей крохотный снаряд со всеми его обитателями. Очевидно, и другие переживали нечто похожее на то, что чувствовал Володя. Через крошечные радиоаппараты, помещенные в шлемах, голоса звучали заглушенно, и даже шипение электродов казалось здесь дерзким и бестактным.

Петушиными хвостами развевались потоки голубоватых искр электрорезки, темные очки на зеленых шлемах Мареева и Брускова казались Володе черными впадинами пустых глазниц, и сами они в своих жароупорных, теплоизолированных и газонепроницаемых скафандрах, с четырехугольными ранцами аппаратов климатизации на спине, походили на странных горбатых выходцев из другого мира<sup>65</sup>.

65. Там же. С. 126.

Адамов вплотную приближается к зоне артикуляционной ищчерпанности. Апелляция к различного рода шумовым эффектам становится у него литературным приемом озвучивания ощущений, переживаемых его героями, своеобразным «переключателем», подсказывающим читателю, что в следующих абзацах можно на какое-то время забыть о фабуле, поскольку речь пойдет главным образом о проработке совсем другой, «внутренней» темы. О размышлениях, воспоминаниях, тревожных думах или светлых настроениях — о том, что по большому счету можно было бы и опустить без ущерба для основного изложения, но что для самого Адамова, по всей видимости, являлось едва ли не самым главным в его произведении. Эти «внутренние переживания» почти никогда не резюмируются во что-то конкретное. У них нет никакого инструментального предназначения. Они как будто обладают самостоятельной ценностью, являются чем-то, без чего человек перестает быть человеком. В них есть что-то от «самокопания». И понятно, что обстановка и среда, в которой разворачивается действие романа, снабжают Адамова набором образов, хорошо способствующих тому, чтобы проговаривать подобные эффекты внутренней коммуникации — иногда с помощью шума, иногда с помощью слов. Вот еще несколько иллюстраций:

Мощный равномерный гул вносил в раскрытые окна какое-то особое чувство спокойствия, уверенности, нерушимой безопасности... <...> Мареев стоял у нижних буровых моторов, и их ровный, музыкальный гул наполнял его грудь радостью. <...> Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Спокойно и уверенно работал буровой аппарат. От его ровного скрежета расцветали надежды в душе Малевской, смягчались улыбкой заострившиеся скулы Мареева<sup>66</sup>.

Оппозиция космических зон, воспроизводимая в романах Беляева и Адамова, имеет отчетливые пересечения со структурной организацией того, что с давних времен обозначалось в интеллектуальной литературе как противопоставление микрокосма и макрокосма. Чувственная устремленность вовне в романах Беляева заменяется у Адамова глубокой сосредоточенностью на внутренних переживаниях. Его герои избыточно рефлексивны. Адамов на многих страницах описывает: переживания «зайца» Володи, нелегально пробравшегося в «снаряд»; мучительные думы капитана подземного корабля Мареева о том, как сэкономить кисло-

66. Там же. С. 14, 35, 82.

род, и вообще все душевные настроения человека, ответственного за судьбы вверенных ему людей; нежные чувства к Володе со стороны тоскующей по материнству Малевской (что порой проговаривается с почти нескромной натуралистичностью). Если сопоставить количество страниц романа, развивающих сюжетную линию, с количеством страниц, посвященных описанию внутренних переживаний героев (за вычетом жанрово необходимых «популяризаторских» описаний), то последние будут иметь очевидный перевес. По сути, главная фабула романа — это не само путешествие, а те тревоги, волнения, настроения и эмоции, которые рождаются в душах героев в процессе его осуществления. Единственным героем, чьи чувства остаются скрытыми от нас, оказывается Брусков, но интенсивность его внутренних переживаний иллюстрируется попыткой суицида, которую он совершает в конце путешествия.

Характеризуя это произведение, необходимо сказать еще об одном. Как и последний роман Беляева, оно было написано в конце 1930-х годов — в канун грандиозных советских репрессий. Страна была в преддверии великих трагических испытаний, и наверняка это как-то чувствовалось, это можно было угадать — по изменившейся общественной атмосфере, по тревожным ожиданиям, по тому, что обычно обозначают такими обтекаемыми литературными оборотами, как *anything big is coming down*, «что-то грозное витало в воздухе» и т. д. Но опять, несмотря на требуемый от советских писателей социальный оптимизм и несмотря на соблюдение правил, касающихся внешнего здорового благополучия, многие из них умели не изменять своему призванию и честно отражали реальность, перемещая главный акцент своих произведений в область скрытого психологического драматизма. Характеризуемые нами писатели кривили душой, развивая фасадную сторону своих сюжетов, но продолжали оставаться честными в интонациях. В каком-то смысле они являлись изобретателями нового литературного приема или даже первооткрывателями нового литературного пространства, которое я рискну обозначить как область *инфравербального* — чего-то, что узнается и чувствуется читателем помимо слов, что угадывается за их явно предъявляемой артикуляционной отчетливостью. Немного утрируя, это можно было бы уподобить изобретению контрапункта в музыке. Именно там размещалась зона их свободы, их правдивого отношения к жизни.

И наконец, замыкающей, а точнее будет сказать, «смыкающей» фигурой нашей тройки писателей является крепкий, устойчивый,

«земной» Владимир Обручев. Его иногда обвиняли в тривиальности используемых им литературных приемов, в избыточном схематизме, отсутствии эмоциональности и т. д. Но, принимая во внимание указанные выше ограничения, задаваемые оппозицией макрокосм/микрососм, это-то и было его главным козырем — «фишкой», позволившей ему остаться в истории литературы, что подтверждается неугасающим интересом читателей к его произведениям.

## Поверхность и ее изнанка

Утопию нельзя рассматривать в отрыве от душевного состояния самих авторов в момент написания ими их произведений. То, что иногда называют «болезнью общества», может быть как-то (не всегда напрямую) связано с чьей-то индивидуальной «болезнью» — тем, что конфузливый психонормирующий дискурс называет девиациями. И тогда один «больной» пытается «лечить» другого. Поэтому будет совсем не лишне обратить внимание на отдельные эпизоды индивидуальных биографий авторов рассматриваемых нами романов. Обручев — это писатель с уверенной земной походкой. Исследователь-геолог, академик, обладатель множества премий и наград, он разительным образом отличался от предыдущих двух авторов с точки зрения эмоционального равновесия и житейской благоустроенности, но в литературе он был таким же маргиналом, как и его упомянутые выше менее удачливые сподвижники. Тем не менее свое первое фантастическое произведение — роман «Плутония» — он пишет в весьма схожих обстоятельствах неопределенности, накануне революции, в разгар Первой мировой войны, в 1915 году.

Будучи человеком рационального склада, Обручев эксплицитно формулирует цели, которые он ставил перед собой при написании этого произведения:

Изучением форм... минувшей жизни, их особенностей, условий существования и причин изменения, вымирания одних, развития и совершенствования других занимается отрасль науки, называемая палеонтологией. Ее изучают в некоторых высших школах. Но и каждому человеку интересно получить хотя бы общее представление о формах и условиях минувшей жизни. Эту задачу и попытался я решить в написанной мною книжке в виде научно-фантастического романа<sup>67</sup>.

67. Обручев В. А. Плутония; Земля Санникова. М.: Правда, 1988. С. 23.

Это предисловие было составлено в 1955 году, спустя сорок лет после написания романа, и никто не может дать гарантии, что в то далекое время Обручев не думал и не чувствовал иначе. Очевидно, однако, что он был страстным путешественником. Похоже, что тяга к перемене мест не покидала его до самых последних лет его жизни. И попытка найти воображаемые пространства, куда еще не ступала нога человека, могла выражать его вполне субъективно мотивированную устремленность, пытающуюся насытиться хотя бы воображаемыми ландшафтами и пейзажами. К тому же вынужденный временный «простой» (по всей видимости, связанный с войной) и вызванный этим сенсорный голод вполне могли спровоцировать его на реализацию давно задуманного литературного замысла, на который у него раньше просто не хватало времени.

Точное, со знанием дела описание особенностей быта странствующих людей, дорожных обстоятельств, с которыми им приходится сталкиваться на пути к намеченной цели, выдают в нем опытного путешественника. Как и в романе Адамова «Победители недр», насыщенном реминисценциями о геологической истории Земли, взгляд Обручева обращен в прошлое, только не в геологическое, а в *биологическое*. И тот и другой эксплуатируют эффект «отскока». Констатированная со строгой картографической аккуратностью завершенность Земли и принципиальная невозможность совершения дальнейших географических открытий становятся препятствием, отразившись от которого, писательская фантазия начинает двигаться в обратном направлении, вовлекая в повествование четвертое измерение — время. Экспедиция, о которой идет речь, — это путешествие в прошлое.

Указанная инверсия происходит не одномоментно. Она надиктовывается исподволь. Сначала Обручев выбирает один из самых труднодоступных участков земной поверхности — малоизвестную землю в Ледовитом океане, лежащую далеко за полярным кругом. Затем он заставляет путешественников пройти через ряд испытаний и некоторую ментальную разлаженность, вызванную тем, что показания научных приборов — инструментов, позволяющих квантифицировать тончайшие колебания эффектов чувственного восприятия, — вдруг начинают противоречить вышколенному в строгой академической традиции здравому смыслу. Эта традиция настолько сильна и авторитетна, что готова отнестись как к оскорблению к тому, что столбик ртути в трубке оказался смещенным на несколько миллиметров не в ту сторону, в какую ему следовало бы сместиться. После продолжительного подъема ат-

мофферное давление не понижается (как того следовало бы ожидать), а, наоборот, становится выше. Стрелка компаса показывает не на север, а на юг. Полярное солнце вдруг застывает в зените и не подает никаких признаков движения. Все это связано с тем, что экспедиция перешла на обратную сторону земной коры, но не подозревающие об этом ее члены, особенно в высшей степени подготовленные научные специалисты, испытывают смятение и впадают в состояние, близкое (но только близкое) к панике:

Как только юрта была расставлена, Боровой вынул свои приборы; кипятильник показал  $+128^{\circ}$ .

Боровой сочно выругался и плюнул.

— Единственное объяснение, что в этом провалище неприменимы физические законы, установленные для земной поверхности, и нужно вырабатывать новые, — сказал Каштанов.

— Легко сказать вырабатывать, — сердился Боровой. — На лету их не выработаешь! Сотни ученых десятки лет трудились, а тут все идет насмарку, словно на другой планете. Я не могу примириться с этим и готов подать в отставку!<sup>68</sup>

<...>

— Можно подумать, что мы находимся под тропиком в день летнего солнцеворота или под экватором во время равноденствия! — сказал он после наблюдения. — Какую широту прикажете записать? Хоть убейте, я не понимаю, где мы находимся и что вокруг нас происходит. Мысли в голове путаются, и все кажется каким-то странным сном!<sup>69</sup>

Идея пустотелости Земли отнюдь не нова. И ее давнее происхождение свидетельствует о том, что у нее были, скорее всего, не только рациональные основания. Когда Королевское общество заказало портрет ставшего, наконец, королевским астрономом Эдмонда Галлея, он был изображен на нем с поллой Землей в руках (отголосок его юношеских исканий, когда он, совершая трансконтинентальное путешествие, пытался понять природу земного магнетизма с помощью измерений магнитного отклонения). Но это, пожалуй, единственный случай, когда гипотеза поллой Земли была поддержана ученым, принадлежавшим к научной элите. Все остальные ее приверженцы, являвшиеся чаще всего новоиспеченными мистагогами, использовали ее как инструмент религиозной агитации либо, если мы говорим о фантастах, как литературный прием, обеспечивающий относительно простой

68. Там же. С. 64.

69. Там же. С. 73.



способ «изъятия» героя из привычных для читателя житейских обстоятельств.

В целом этот роман Обручева, как и следующий («Земля Санникова»), является апологией властного поступательного движения цивилизованной расы. В нем чувствуется воля к преодолению всего необычного, упорство в подчинении *парадокса* (естественного, хотя и случайного попутчика любого познания) нормирующей власти уверенного в своих силах обученного европейца. Этот европеец — не одиночка. Он встроен в мобилизующие дисциплинарные (и одновременно дисциплинирующие) схемы и ощущает поддержку целой армии своих соратников как нынешнего, так и нескольких предшествующих поколений. Он хорошо вооружен и готов подчинить себе весь мир. Он убежден, что если вдруг попадет в нелегкое положение, то помощь обязательно придет, а если на переднем крае окажется не он, а кто-нибудь другой из его единоверцев, то он станет в первые ряды добровольцев, готовых незамедлительно двинуться на подмогу. В романе такая подмога приходит со стороны организатора этого путешествия, геофизика и астронома Николая Иннокентьевича Труханова, снабдившего экспедицию письмом, которое было предписано открыть в том случае, если ее участники очутятся «во время путешествия по Земле Нансена в безвыходном положении» или будут «в недоумении и не в состоянии объяснить себе то, что» они «увидят вокруг себя, не будут знать, что предпринять дальше»<sup>70</sup>. После разъяснений, изложенных в письме Труханова, все становится на свои места, и путешественники заново включаются в порождающие схемы своих дисциплинарных машин, просеивая сквозь мелкое сито любезных их сердцу классических таксономий увиденные и собранные ими образцы фауны, флоры, геологических пород и климатических характеристик.

Здесь и в помине нет терзаний, мучавших героев Григория Адамова, когда они, будучи практически погребенными живо, оставшись один на один с тяжелым безмолвием негостеприимных земных недр, задают друг другу «вечные» атеистические вопросы о смерти, вечности, о том, что если суждено встретить смерть, то как это лучше сделать — покорно дожидаясь ее приближения или открыв до отказа все кислородные краны, уснуть вечным сном после безмятежного веселья? Не зная, куда подвинуть гирьку весов — в сторону собственного величия или в сторону ничтожности, — они проходят долгий мучительный путь

70. Там же. С. 52.

(включая попытку суицида одного из членов экипажа), прежде чем возвратиться к правильной позиции правоверного марксиста. У Обручева все не так. Максимум эмоционального напряжения его героев выражается в ругани. «Смачно выругался» — вот пик их ментальной разбалансированности. Но, как правило, решение и выход из затруднительного положения быстро находят, возвращая героев к их привычным трудам и дням, которые они достойно несут на себе как естественное «бремя белого человека». Здесь и в помине нет тех пограничных состояний, о которых пишет Адамов.

Еще одна особенность и еще одно отличие. В романе Обручева почти нет женщин. Если они и появляются, то только в виде этнологического материала. Видимо, по старой доброй привычке экспериментаторов раннего Нового времени он относил их к категории природных явлений, а не социальных существ. С еще большей явственностью эти сексистские настроения обозначаются в «Земле Санникова», где именно женщины-аборигенки в первую очередь проявляют симпатии к чужеземцам (и, вероятно, симпатии не только абстрактно-платонические). Здесь нет пресловутого «женского вопроса», который, кстати, довольно остро поднимается у Адамова. Когда в связи с малым запасом кислорода возникает потребность в эвакуации, то командир снаряда принимает благородное решение отправить на поверхность сначала «детей и женщин», но наталкивается на возмущенное возражение со стороны единственной женщины, входящей в состав экипажа (высказываемое, правда, в лицо не командиру, а своему «сопернику» — Брускову, решившему «принести себя в жертву» ради нее):

— Кажется, за время нашей экспедиции я не давала повода делать различие между нами. Я работала наравне с вами, я подвергалась тем же опасностям, я физически здорова, сильна и закалена не менее, если не более, чем ты... Почему же ты теперь вытащил из сундуков прошлого это пыльное рыцарское знамя и размахиваешь им, даже не спрашивая моего мнения? Кто дал тебе право говорить за меня и диктовать Никите правила рыцарского поведения?<sup>71</sup>

Малевская побеждает. Первым на поверхность отправляется именно раненый Брусков.

71. Адамов Г. Победители недр. С. 261.

Может показаться странным, что я включил путешествие, совершаемое героями произведений Обручева, в разряд космических. На первый взгляд, это вполне земная история. Но при ближайшем рассмотрении, особенно в романе «Плутония», можно выявить ряд признаков, которые не позволяют отнести его ни к какой другой категории. Если вспомнить те положения, которые я излагал во вводной части статьи, то станет понятно, что если не все, то большинство из них так или иначе присутствуют в этом произведении. Мы говорили, что воображение космического фантаста конца XIX — начала XX века испытывало тенденцию устремляться за пределы сомкнувшегося земного мира. И простейшим вариантом такого перемещения было движение вдоль вертикали — вверх или вниз. Казалось бы, герои Обручева путешествуют по поверхности Земли, но... Зона их путешествия выведена за пределы картографированного мира. В «Плутонии» они в буквальном смысле оказываются «на краю» Земли, проникая на обратную сторону ее поверхности. Далее их путешествие — это движение не только в пространстве, но и во времени, причем в направлении прошлого. Временная шкала в данном случае задается реверсивной последовательностью сменяющихся биологических видов. Кроме того, в процессе путешествия герои испытывают некоторую ментальную разлаженность, хотя и контролируемую. На наш взгляд, налицо вполне достаточный набор типичных признаков космического путешествия.

## Заключение

Итак, пришло время платить по счетам. Мне нужно каким-то образом обосновать то, что я с задорной самоуверенностью постулировал при переходе к предметной части этой работы, а именно что романы Беляева, Адамова и Обручева образуют «ортонормированный базис» советского космического воображения. Можно, конечно, отделаться отговорками, что они действительно, по факту, являлись первыми крупными советскими космическими фантастами, а следовательно, все остальные были только их продолжателями и так или иначе были вынуждены принимать во внимание то, что нарисовало воображение их канонических предшественников. Но, мне кажется, этот тезис может иметь и более глубокое обоснование.

Прежде всего следует обратить внимание на то, что, в отличие от западной традиции описания подобного рода воображаемых путешествий, они писались не одним, а тремя различными

авторами. Если, скажем, у Верна и Берроуза так или иначе затронуты все три космические зоны, то в советской фантастике происходит своего рода «разделение труда». Беляев ничего не пишет о подземных путешествиях, а Адамов — о полетах в космическое пространство. Обручев тоже поглощен только земной поверхностью. И хотя он сам признавался, что хотел исправить ошибки романа Верна «Путешествие к центру Земли», его герои путешествуют не к центру, а перемещаются вдоль земной поверхности, хотя и с обеих ее сторон. Если ввести такую категорию, как *пространство космического воображения*, то можно постулировать следующее правило. У западных авторов это пространство присутствовало внутри писательского сознания, в то время как у советских — вне его. Если прибегнуть к радикальному обобщению, то можно даже предположить, что космическое воображение охватывало *весь* советский социум и поэтому было для советского человека не внутренней, а внешней реальностью. И внутри этой реальности можно было двигаться только в каком-то одном направлении. Иначе как объяснить то, что ни у одного из советских фантастов мы не обнаруживаем того, что легко репрезентировалось в произведениях западных авторов: умения с более или менее равным талантом использовать интуиции всех трех перемещений — небесных, подземных и поверхностных?

Таким образом, если говорить о каких-то фундаментальных преобразованиях, происходящих в этом пространстве, которые, как мы отмечали выше, маркируют своеобразные рубежи в истории человечества, то следует отметить: в случае «западного человека» они происходили на уровне индивидуальных душ и воле, а для советского человека носили характер внешней принуждающей силы. Микрокосм советского человека не был индивидуализирован. Природные зоны соотносились не с сознанием отдельного человека, а с коллективным мышлением. На первый взгляд, вторая система кажется более простой. Однако в ней, в отличие от первой, «западной» системы, существовал еще один уровень отношения к реальности — *личностный*, или, уходя от посторонних коннотаций, так или иначе связанных со словом «личность», *игровой*<sup>72</sup>. В творчестве советских фантастов всегда можно вычленировать второй план, и в этом смысле они более сложны. В их произведениях всегда слышна *ирония* в отношении к собственному

72. Не отсюда ли ведет происхождение такой типично советский институт, как интеллигентская кухня?

тексту, если понимать этот термин в его исходном сократовском значении.

Помимо этого, есть и другие отличия. Советская космическая фантастика раннего периода не возвращает героев к их исходным будням. Они всегда в будущем. Собственно, отсутствует сам этот зигзаг перемещения туда и обратно. Если кто и совершает такое челночное путешествие, так это сам читатель, которому предлагается стать на время частью космического вымысла, что тоже не противоречит обозначенной выше диспозиции. Автор, действуя «внутри» пространства космического воображения, как бы набирает попутчиков для путешествия, в ходе которого он намерен посетить своих воображаемых героев. Герои остаются там, где они и были с самого начала, но читатель вынужден вернуться. Это на его долю приходится разочарования и ностальгические воспоминания, которые по закону жанра должны были бы остаться в самом романе — у его грустных и слегка разочарованных персонажей. Этот мотив был с удивительной тонкостью отслежен в первой экранизации романа Толстого «Аэлита», разительно отличающейся от авторского замысла. Герой фильма инженер Лось становится рабом собственной мечты. Все его путешествия — лишь игра его расхоронившегося воображения, бред, который на какое-то время замещает собой реальность. «Вернувшись» из своего экстатического путешествия, Лось решительно уничтожает все чертежи проектируемого им межпланетного корабля и решает посвятить себя исключительно земной, полезной инженерной работе.

Откуда берется этот коллективный советский микрокосм? Я понимаю, что ступаю на территорию, давно и надежно обустроенную многими авторитетными авторами, пишущими о том, как советский образ жизни влиял на космическое мировосприятие<sup>73</sup>. И тем не менее мне придется сделать это, прибегнув к термину, который уже неоднократно звучал в этой работе, — к колониализму. Строго говоря, слово «колониализм» надо писать с большой буквы, поскольку оно обозначает не столько политический или социальный процесс, сколько эпоху — нечто, что охватывает все проявления человеческой жизни без исключения и тоталь-

73. К числу наиболее ярких из них я бы отнес Владимира Паперного, Нину Тумаркин, Михаила Рыклина, Леонида Кациса, а также авторов тематического номера журнала «Искусство» (1988, № 10). Дискуссии подобного рода были чрезвычайно популярны непосредственно после распада СССР.

ным образом меняет отношение человека к реальности. В этом смысле Колониализм сродни таким понятиям, как Возрождение, Новое время, Просвещение. У любой эпохи есть завершение, как правило маркируемое появлением сочинения или автора (авторов), в котором логика доминирующего типа мышления доведена до последнего разоблачительного предела. Для эпохи Просвещения таким автором стал Мальтус, убедительнейшим образом показавший, что строгое следование идеалам Просвещения имело бы последствия, которые способны шокировать даже самые черствые атеистические умы. Для Колониализма таким автором стал Маркс, писавший о воцарении Коммунизма на всей планете. С одной стороны, это не что иное, как продолжение колониальной экспансии, то есть экстраполяция нового набора генерализаций на весь земной мир; с другой — завершение этого процесса привело бы к исчезновению субъектов колониальных отношений, а следовательно, и самого Колониализма<sup>74</sup>.

Коммунизм как проект предполагал именно такое дезиндивидуализированное сознание, какое и воплотилось в советском человеке. Здесь опять приходится вспомнить гениальную провидческую фантазию Богданова (Малиновского) о коммунистическом обществе на Марсе:

Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто жил с ним и знает его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда ее уже нет... Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества<sup>75</sup>.

Развивать эту тему далее означало бы писать еще одну статью. Поэтому я прерву свое рассуждение на этом месте. В заключение добавлю, что, как и многие из тех, кто будет читать эту работу, я пребываю в некотором недоумении по поводу того, что в ее финале вдруг возникли такие общие, казалось бы, уже давно не актуальные и подробно дифференцированные понятия, как «сознание западного человека» или «сознание советского человека». Но что поделать? Именно к таким выводам привел меня поиск, который я осуществлял как мог честно. И если сам характер анализируемого материала индуцировал во мне пресловутую советскую

74. Другим радикальным примером такого типа мыслительной стратегии является идеология гитлеризма, инвертировавшая вектор колониального захвата, направив его внутрь самих империй.

75. *Богданов (Малиновский) А. А.* Красная звезда. С. 31-32.

иронию, то, пожалуй, в данном случае это будет свидетельство-вать скорее о благоприятном прогнозе, чем наоборот.

Если же говорить о каком-то «сухом остатке», о том, что нового может дать эта статья в позитивно-историческом смысле — какие незнакомые ранее факты она открыла и на какие явления обратила внимание, — то я бы отметил следующее. Во-первых, было бы чрезвычайно расточительно с точки зрения возможностей, предоставляемых текстами, посвященными воображаемым космическим путешествиям, ограничивать их анализ только литературоведческими подходами. Эти сочинения возникли в тот исторический период, когда модель организации науки по принципу дисциплинарного деления, в основе которой лежали институты, сформировавшиеся в эпоху активных колониальных захватов, достигла своего логического и исторического завершения. В этом смысле они действительно маркируют весьма важный переломный момент в истории знания и истории культуры в целом. Поэтому указанные сочинения позволяют себя интерпретировать с самых разных точек зрения и с применением самых разных подходов, не только литературоведческих.

Во-вторых, материальной основой этого изменения стало физическое замыкание мира земной поверхности, если понимать под физическим непосредственное, деятельное присутствие человека практически в любой точке планеты с широко развитыми возможностями коммуникации и передачи сведений об увиденном и познанном. По сути, это предельно очевидно. Обретение планеты как единого космического целого *не могло не поменять* мировоззрения. И только после того, как это случилось, оказалась возможна известная фраза Циолковского: «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели». После замыкания опыта земной поверхности, после повторного ее обустройства и обживания во вполне обыденном и прагматичном смысле этих понятий *вся* человеческая трансцендентность оказалась способной к реализации *только* в направлении вертикали. Именно этим, на мой взгляд, обуславливается обилие произведений о космических путешествиях, «неожиданно» возникших на рубеже XIX–XX веков.

В-третьих, содержание этих произведений недвусмысленно свидетельствует о том, что фантастический космос конца XIX — начала XX века, задаваемый воображением писателей-фантастов, вполне аутентично воспроизводил антропоцентрический трехуровневый космос архаичного человека, и главный конфликт фантастических произведений указанного периода — это



конфликт фатального несоответствия базовых интуиций человеческого мировосприятия и законов, управляющих *действительной* реальностью. Вся предыдущая история человечества, разворачивавшаяся в локальных обстоятельствах биосистемы очень небольшого космического тела под названием Земля, снабдила нас только тем, что было необходимо для выживания на этой планете. Например: рецепторы нашей ретины настроены на регистрацию довольно узкого диапазона световых волн, в центре которого обнаруживается частота, соответствующая 555 нанометрам — эффективной температуре Солнца, и, если бы вместо Солнца была какая-нибудь другая звезда, мы видели бы *иначе*; наше воображение не в состоянии представить четырехмерное пространство-время (нам не нужно было знать о нем, чтобы выжить на нашей планете, конкурируя с другими биологическими видами), поэтому для иллюстрации его необычных свойств приходится прибегать к искусственной редукции, упраздняя одну или даже две пространственные координаты, и т. д. Наши органы чувств обманывают наш разум. Мы — трагически несовершенны. А потому объективность нашего восприятия и логичность наших суждений всегда под угрозой. «Другой» находится не где-то далеко, а присутствует внутри каждого из нас в виде сотворившей нас реальности, которая предпочла остаться неузнанной для (возможно, наиболее совершенных) плодов своего творения.

Развернутая трактовка перечисленных выше вопросов — это предмет фантастического воображения скорее второй, а не первой половины XX века, но начало этому качественно новому осмыслению «Себя» было положено на пороге века, причем не только писателями-фантастами, но и многими физиками, математиками, лингвистами, психофизиологами — всеми, для кого взаимодополнительная связка концептов *субъективное/объективное* имела не только отвлеченно-философский, но и деятельно-практический смысл<sup>76</sup>. И если внимательно вчитаться в фантастические произведения, в которых описываются космические путешествия, то можно увидеть, что путешествие внутри трех исконно человеческих космических зон в фантастике XX века — это всегда возвращение к себе самому. Можно найти непрерывность в этом реверсивном движении, нацеленном на поиск «Другого», но в итоге приводящем к собственному *Self*.

76. Интересные наблюдения на этот счет можно найти в недавней книге: *Daston L., Galison P. Op cit.* (особенно в пятой главе — *Structural Objectivity*).

Сначала это Восток для европейцев<sup>77</sup>, затем инопланетянин для человека, затем неантропоморфное разумное против антропоморфного и, наконец, неантропоморфность, поселившаяся внутри нас самих. (Если опять прибегнуть к кинематографической параллели, это можно проследить в том числе по тому, как меняется сюжет фильма *The Thing from Another World* (1951) с его знаменитой предостерегающей финальной фразой *Keep watching the skies* в последующих ремейках с редуцированным названием *The Thing* (1982, 2011).

В-четвертых, надо признать, что идея исчерпаемости природных ресурсов планеты впервые появилась и была широко ратифицирована именно в фантастических произведениях конца XIX — начала XX века. Она носила исключительно гипотетический характер и была необходима лишь для того, чтобы придать убедительность фантазийному нарративу. Вряд ли кто-то из фантастов всерьез помышлял о том, что в довольно скором будущем, а именно в 1960-х годах, эта проблема станет актуальной для самих землян и даже найдет свое институциональное выражение в «Международной биологической программе» ЮНЕСКО (организационно осуществляется с 1964 года; в 1971 году реорганизована в программу «Человек и биосфера»). Фантасты, скорее всего, имели в виду гораздо более далекую перспективу. Однако факт остается фактом: первая рефлексия на эту тему была артикулирована именно авторами фантастических произведений. Содержательно она никак или почти никак не связана с дискуссиями 1960–1970-х годов — точно так же, как содержание космических программ того же периода имело малое отношение к технологическим фантазиям научных фантастов начала века. Здесь возникает множество вопросов о том, как научное воображение связано с конкретной технической реализацией воображаемых проектов, но их подробное обсуждение выходит за рамки настоящей статьи.

И наконец, в-пятых, глубина и насыщенность технократических дискуссий с учетом в том числе негативных антиципаций, обнаруживаемых в фантастических произведениях предвоенного периода, дает основание предполагать, что они носили весьма массовый, хотя и «анонимный» характер. Их последующая концептуализация в трудах известных антимодернистов, пик твор-

77. И об этом по-прежнему наиболее пронзительно и наиболее точно сказано у Эдварда Саида: *Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока.* СПб.: Русский Мир, 2006.

чества которых пришлось на 1950–1960-е годы (Жак Эллиуль, Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер и др.), основывалась на настроениях, довольно глубоко укоренившихся в массовом сознании. Этот вывод можно отнести к наименее очевидным, но столь буквальное совпадение взглядов литературного персонажа доктора Шнирера с идеями Жака Эллиуля, впервые опубликованными спустя двадцать лет после написания романа Беляева «Прыжок в ничто», заслуживает если не внимания, то по меньшей мере упоминания.

### *Библиография*

- Banerjee A. *We Modern People: Science Fiction and the Making of Russian Modernity*. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2012.
- Bell D. *The Coming of Post Industrial Society*. N.Y.: Basic Books, 1976.
- Centeno M. A. *The New Leviathan: The Dynamics and Limits of Technocracy* // *Theory and Society*. 1993. Vol. 22. Iss. 3. P. 307–335.
- Chartier R. *Culture as Appropriation: Popular Cultural Uses in Early Modern France* // *Understanding Popular Culture: Europe from the Middle Ages to the Nineteenth Century* / S. L. Kaplan (ed.). B.; N.Y.; Amsterdam, 1984. P. 229–253.
- Daston L., Galison P. *Objectivity*. N.Y.: Zone Books, 2007.
- Einstein A. *Autobiographical Notes* // *Albert Einstein: Philosopher-Scientist*. Vol. 1 / P. A. Schilpp (ed.). La Salle, IL: Open Court, 1970. P. 4–7.
- Galbraith J. K. *The New Industrial State*. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin, 1985.
- Glad J. P. *Extrapolations from Dystopia: A Critical Study of Soviet Science Fiction*. Princeton: Kingston Press, 1982.
- Griffiths J. *Three Tomorrows: American, British and Soviet Science Fiction*. L.; Basingstoke, 1980.
- Gross A. *Ladina Bezzola Lambert: Imagining the Unimaginable: The Poetics of Early Modern Astronomy*. *Review* // *ISIS*. 2002. Vol. 93. № 4. P. 695–696.
- Hughes T. *Networks of Power: Electrification in Western Society 1890–1930*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983.
- Lambert L. B. *Imagining the Unimaginable: The Poetics of Early Modern Astronomy*. Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2002.
- North J. *Chaucer's Universe*. Oxford: Clarendon Press, 1988.
- North J. *Cosmos: An Illustrated History of Astronomy and Cosmology*. Chicago: The University of Chicago Press, 2008.
- Peirce Ch. S. *Three Logical Sentiments* // *Collected Papers*. Vol. 2 / Ch. Hartshorne, Paul Weiss (eds). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960–1966.
- Planck M. *Acht Vorlesungen über theoretische Physik: Gehalten an der Columbia University in the City of New York im Frühjahr 1909*. Leipzig: Hirzel, 1910.
- Price D. K. *The Scientific Estate*. Cambridge: Harvard University Press, 1965.
- Ruyer R. *L'utopie et les utopistes*. P.: PUF, 1950.
- Science Fiction Studies*. 2004. № 94 (Soviet Science Fiction: The Thaw and After).
- Stites R. *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. N.Y.: Oxford University Press, 1989.
- Suvín D. *Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre*. New Haven: Yale University Press, 1979.

- Tropp E. A., Frenkel V. Ya., Chernin A. D. Alexander A. Friedmann: The Man Who Made the Universe Expand. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Withers Ch. W. J. The Social Nature of Map Making in the Scottish Enlightenment, c. 1682 — c. 1832 // *Imago Mundi*. 2002. Vol. 54. P. 46–66.
- Worlds Apart. An Anthology of Russian Fantasy and Science Fiction / A. Levitsky (ed.). N.Y.: Woodstock; L.; Overlook Duckworth, 2007.
- Адамов Г. Победители недр // Он же. Победители недр. Изгнание владыки. Фрунзе: Киргизское государственное учебно-педагогическое издательство, 1958.
- Аинса Ф. Реконструкция утопии. Эссе. М.: Наследие; Editions UNESCO, 1999.
- Барт Р. «Наутилус» и пьяный корабль // Он же. Мифологии. М.: Академический проект, 2008. С. 81–82.
- Беляев А. Вечный хлеб; Последний человек из Атлантиды; Прыжок в ничто; Золотая гора. М.: Правда, 1988.
- Беляев А. Р. Звезда КЭЦ // Он же. Человек-амфибия; Повести. М.: Правда, 1985.
- Беляев Александр Романович (1884–1942) // *Русская фантастика*. URL: <http://rusf.ru/litved/biogr/belyaev.htm>.
- Берроуз Э. Р. Дочь тысячи джеддаков. М.: Гелеос, 2002.
- Бикбов А. Т. Грамматика порядка: историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014.
- Бимель В. Мартин Хайдеггер, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Челябинск: Урал LTD, 1998.
- Богданов (Малиновский) А. А. Красная звезда // Богданов (Малиновский) А. А., Лавренев Б. А. Красная звезда. Крушение республики Итль. М.: Правда, 1990.
- Бритиков А. Ф. Научная фантастика, фольклор и мифология // *Русская литература*. 1984. № 3. С. 55–74.
- Бритиков А. Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л.: Наука, 1970.
- Бруно Дж. Изгнание торжествующего зверя. Самара: АГНИ, 1997.
- Геллер Л. Вселенная за пределом догмы: размышления о советской фантастике. Л.: Overseas publishing interchange, 1985.
- Дубин Б. В. Литература как фантастика: письмо утопии // Он же. Слово — письмо — литература: Очерки по социологии современной культуры. М.: НЛО, 2001. С. 20–41.
- Иванов К. В. Небесный порядок. Тула: Гриф и К, 2003.
- Иванов К. В. Чем мы обязаны фундаментальной науке? // *Логос*. 2005. Т. 15. № 6. С. 127–134.
- Искусство*. 1988. № 10.
- Кондильяк. Трактат о системах // Он же. Соч.: В 3 тт. Т. 2. М.: Мысль, 1980.
- Левтеева Л. Г. Присоединение Средней Азии к России в мемуарных источниках (историография проблемы). Ташкент: ФАН, 1986.
- Малкин С. Г. Лаборатория империи: мятеж и колониальное знание в Великобритании в век Просвещения. М.: НЛО, 2016.
- Новые идеи в астрономии: Непериодическое издание, выходящее под ред. проф. А. А. Иванова. СПб.: Образование, 1913–1915. Сб. 1–7.
- Нудельман Р. Фантастика, рожденная революцией // *Фантастика*. 1966. Вып. 3. М.: Молодая гвардия, 1966. С. 330–369.

- Обручев В. А. Плутония; Земля Санникова. М.: Правда, 1988.
- Ревич В. А. Перекресток утопий: Судьбы фантастики на фоне судеб страны. М.: ИВ РАН, 1998.
- Рибер А. Сравнивая континентальные империи // Российская империя в сравнительной перспективе: сб. статей. М.: Новое издательство, 2004. С. 33–70.
- Саган К. Наука в поисках Бога. СПб.: Амфора, 2009.
- Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Мир, 2006.
- Симонова А. В. Формирование космической мифологии как фактора развития научных исследований космоса в СССР и России // Социология власти. 2014. № 4. С. 156–173.
- Тропп Э. А., Френкель В. Я., Чернин А. Д. Александр Александрович Фридман. Жизнь и деятельность. М.: Наука, 1988.
- Элиаде М. Космос и история. М.: Прогресс, 1987.

DREAMS ABOUT JOURNEYS THROUGH SPACE  
AND THE UNDERWORLD IN EARLY SOVIET SCIENCE-FICTION

KONSTANTIN IVANOV. Chief Research Fellow, ikv@ihst.ru.

S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology of the  
Russian Academy of Sciences (IHST RAS), 14 Baltiyskaya str.,  
Moscow 125315, Russia.

*Keywords:* Soviet science fiction; colonization; The Other; technocracy;  
anti-modernism.

The paper attempts to explain the increased popularity of stories about imaginary journeys through space and the underworld on the threshold of the twentieth century. Although this literary tradition goes back to Cicero, Macrobius, Dante, and a number of authors from the Early Modern period, the fin-de-siècle upsurge in interest towards this genre was not accidental. The paper traces the background of that genre since ancient times and reconstructs the three-tiered structure of the anthropocentric universe that was formed inside of it. The study offers potential reasons that have enhanced the dreams about traveling to the underworld and outer space at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century. One of these reasons was the completion of an extensive colonial conquest. With fewer and fewer unmapped and unexplored spaces on the globe, expectations were rising regarding further steps towards the unknown zones of the universe — both upper and lower. The authors who wrote about traveling to the underworld and outer space employed the terms, metaphors, and plots that reflected the experience of colonialism.

The author examines a change in the perception of The Other, caused by the above-mentioned social transformation. He tries to show how it was expressed in the literature on the collisions between the earthlings and the aliens. With regard to early Soviet science-fiction, the author considers three representative cases, each of which describe journeys to distinct cosmic zones: the novels by Alexander Belyaev (Space), Grigory Adamov (Underworld), and Vladimir Obruchev (Earth and its inhabited flip-side). The author then proceeds by comparing them with the classical works of Jules Verne and Herbert Wells. In this regard, there is a distinct difference between the structure of the typical Western and Soviet microcosm of accounts. The paper points out a number of technocratic anticipations to be found in novels by pioneering Soviet science fiction writers.

DOI: 10.22394/0869-5377-2018-2-159-220

*References*

- Adamov G. Pobediteli nedr [Conquerors of the Underground]. *Pobediteli nedr. Izgnanie vладыki* [Conquerors of the Underground. The Ousting of the Ruler], Frunze, Kirgizskoe gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo, 1958.
- Aínsa F. *Rekonstruktsiia utopii. Esse* [La reconstrucción de la utopía. Essai], Moscow, Nasledie, Editions UNESCO, 1999.
- Banerjee A. *We Modern People: Science Fiction and the Making of Russian Modernity*, Middletown, CT, Wesleyan University Press, 2012.
- Barthes R. "Nautilus" i p'iany korabl' [Nautilus et bateau ivre]. *Mifologii* [Mythologies], Moscow, Akademicheskii proekt, 2008, pp. 81–82.

- Beliaev Aleksandr Romanovich (1884–1942) [Belyaev Alexander Romanovich (1884–1942)]. *Russkaia fantastika* [Russian Sci-Fi]. Available at: <http://rusf.ru/litved/biogr/belyaev.htm>.
- Bell D. *The Coming of Post Industrial Society*, New York, Basic Books, 1976.
- Belyaev A. R. *Vechnyi khleb; Poslednii chelovek iz Atlantidy; Pryzhok v nichto; Zolotaia gora* [Eternal Bread. The Last Man from Atlantis. Jump into the Void. Golden Mountain], Moscow, Pravda, 1988.
- Belyaev A. R. *Zvezda KETs* [KETs Star]. *Chelovek-amfibiia; Povesti* [The Amphibian Man; Novellas], Moscow, Pravda, 1985.
- Biemel W. *Martin Khaidegger, sam svidetel'stvuiushchii o sebe i o svoei zhizni (s prilozheniem fotodokumentov i illiustratsii)* [Martin Heidegger in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten], Cheliabinsk, Ural LTD, 1998.
- Bikbov A. *Grammatika poriadka: Istoricheskaia sotsiologiia poniatii, kotorye meniaiut nashu real'nost'* [The Grammar of Order: Historical Sociology of Concepts That Change Our Reality], Moscow, HSE, 2014.
- Bogdanov A. A. *Krasnaia zvezda* [The Red Star]. In: Bogdanov A. A., Lavrenyov B. A. *Krasnaia zvezda. Krushenie respubliki Itl'* [The Red Star. The Fall of the Republic of Itl'], Moscow, Pravda, 1990.
- Britikov A. F. *Nauchnaia fantastika, fol'klor i mifologiia* [Science Fiction, Folklore and Myths]. *Russkaia literatura* [Russian Literature], 1984, no. 3, pp. 55–74.
- Britikov A. F. *Russkii sovetskii nauchno-fantasticheskii roman* [Russian Soviet Sci-Fi Novel], Leningrad, Nauka, 1970.
- Bruno G. *Izgnanie torzhestvuiushchego zveria* [The Expulsion of the Triumphant Beast], Samara, AGNI, 1997.
- Burroughs E. R. *Doch' tysiachi dzheddakov* [A Princess of Mars], Moscow, Geleos, 2002.
- Centeno M. A. *The New Leviathan: The Dynamics and Limits of Technocracy. Theory and Society*, 1993, vol. 22, iss. 3, pp. 307–335.
- Chartier R. *Culture as Appropriation: Popular Cultural Uses in Early Modern France. Understanding Popular Culture: Europe from the Middle Ages to the Nineteenth Century* (ed. S. L. Kaplan), Berlin, New York, Amsterdam, 1984. P. 229–253.
- Condillac. *Traktat o sistemakh* [A Treatise on Systems]. *Soch.: V 3 tt. T. 2* [Works: In 3 vols. Vol. 2], Moscow, Mysl', 1980.
- Daston L., Galison P. *Objectivity*, New York, Zone Books, 2007.
- Dubin B. V. *Literatura kak fantastika: pis'mo utopii* [Literature as a Science Fiction: the Writing of Utopia]. *Slovo — pis'mo — literatura: Ocherki po sotsiologii sovremennoi kul'tury* [Word — Writing — Literature: Essays in Sociology of Contemporary Culture], Moscow, New Literary Observer, 2001, pp. 20–41.
- Einstein A. *Autobiographical Notes. Albert Einstein: Philosopher-Scientist. Vol. 1* (ed. P. A. Schilpp), La Salle, IL, Open Court, 1970, pp. 4–7.
- Eliade M. *Kosmos i istoriia* [Cosmos and History], Moscow, Progress, 1987.
- Galbraith J. K. *The New Industrial State*, 4th ed., Boston, Houghton Mifflin, 1985.
- Geller L. *Vselenaiia za predelom dogmy: razmyshleniia o sovetskoi fantastike* [Universe beyond Dogma: Reflections on Soviet Science Fiction], London, Overseas publishing interchange, 1985.
- Glad J. P. *Extrapolations from Dystopia: A Critical Study of Soviet Science Fiction*, Princeton, Kingston Press, 1982.
- Griffiths J. *Three Tomorrows: American, British and Soviet Science Fiction*, London, Basingstoke, 1980.



- Gross A. Ladina Bezzola Lambert: Imagining the Unimaginable: The Poetics of Early Modern Astronomy. Review. *ISIS*, 2002, vol. 93, no. 4, pp. 695–696.
- Hughes T. *Networks of Power: Electrification in Western Society 1890–1930*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1983.
- Iskusstvo* [Art], 1988, no. 10.
- Ivanov K. V. Chem my obiazany fundamental'noi nauke? [What Honor Do We Owe to the Fundamental Science?]. *Logos. Filosofsko-literaturnyi zhurnal* [Logos. Philosophical and Literary Journal], 2005, vol. 15, no. 6, pp. 127–134.
- Ivanov K. V. *Nebesnyi poriadok* [Celestial Order], Tula, Grif i K, 2003.
- Lambert L. B. *Imagining the Unimaginable: The Poetics of Early Modern Astronomy*, Amsterdam, New York, Rodopi, 2002.
- Levtseva L. G. *Prisoedinenie Srednei Azii k Rossii v memuariykh istochnikakh (istoriografiya problemy)* [Central Asia's Integration into Russia in Memorial Sources (Historiography of the Problem)], Tashkent, FAN, 1986.
- Malkin S. G. *Laboratoriia imperii: miatezh i kolonial'noe znanie v Velikobritanii v vek Prosveshcheniia* [Empire's Laboratory: Rebellion and Colonial Knowledge in Great Britain in the Age of Enlightenment], Moscow, New Literary Observer, 2016.
- North J. *Chaucer's Universe*, Oxford, Clarendon Press, 1988.
- North J. *Cosmos: An Illustrated History of Astronomy and Cosmology*, Chicago, The University of Chicago Press, 2008.
- Novye idei v astronomii: Neperiodicheskoe izdanie, vykhodiashchee pod red. prof. A. A. Ivanova* [New Ideas in Astronomy: Nonperiodical Publication, Edited by Prof. A. A. Ivanov], Saint Petersburg, Obrazovanie, 1913–1915. Coll. 1–7.
- Nudel'man R. Fantastika, rozhdennaia revoliutsiei [Science Fiction, Born of the Revolution]. *Fantastika. 1966. Vyp. 3* [Science Fiction. 1966. Iss. 3], Moscow, Molodaia gvardiia, 1966, pp. 330–369.
- Obruchev V. A. *Plutoniia; Zemlia Sannikova* [Plutonia. Sannikov Land], Moscow, Pravda, 1988.
- Peirce Ch. S. Three Logical Sentiments. *Collected Papers. Vol. 2* (eds Ch. Hartshorne, Paul Weiss), Cambridge, MA, Harvard University Press, 1960–1966.
- Planck M. *Acht Vorlesungen über theoretische Physik: Gehalten an der Columbia University in the City of New York im Frühjahr 1909*, Leipzig, Hirzel, 1910.
- Price D. K. *The Scientific Estate*, Cambridge, Harvard University Press, 1965.
- Revich V. A. *Perekrestok utopii: Sud'by fantastiki na fone sudeb strany* [Crossing of Utopias: The Destinies of Science Fiction against the Background of Country's Destinies], Moscow, IV RAN, 1998.
- Riber A. *Sravnivaia kontinental'nye imperii* [Comparing Continental Empires]. *Rossiiskaia imperiia v sravnitel'noi perspektive: sb. statei* [Russian Empire in the Perspective of Comparison: Collection of Articles], Moscow, Novoe izdatel'stvo, 2004, pp. 33–70.
- Ruyer R. *L'utopie et les utopistes*, Paris, PUF, 1950.
- Sagan C. *Nauka v poiskakh Boga* [The Varieties of Scientific Experience], Saint Petersburg, Amfora, 2009.
- Said E. W. *Orientalizm. Zapadnye kontseptsii Vostoka* [Orientalism. Western Concepts of the East], Saint Petersburg, Russkii Mip, 2006.
- Science Fiction Studies*, 2004, no. 94 (Soviet Science Fiction: The Thaw and After).
- Simonova A. V. *Formirovanie kosmicheskoi mifologii kak faktora razvitiia nauchnykh issledovaniia kosmosa v SSSR i Rossii* [Creation of Space Mythology as a

- Factor of Scientific Research of Outer Space in the USSR and Russia]. *Sotsiologiya vlasti* [Sociology of Power], 2014, no. 4, pp. 156–173.
- Stites R. *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*, New York, Oxford University Press, 1989.
- Suvín D. *Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre*, New Haven, Yale University Press, 1979.
- Tropp E. A., Frenkel V. Ya., Chernin A. D. *Aleksandr Aleksandrovich Fridman. Zhizn' i deiatel'nost'* [Alexander A. Friedmann. Life and Activity], Moscow, Nauka, 1988.
- Tropp E. A., Frenkel V. Ya., Chernin A. D. *Alexander A. Friedmann: The Man Who Made the Universe Expand*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
- Withers Ch. W. J. The Social Nature of Map Making in the Scottish Enlightenment, c. 1682 — c. 1832. *Imago Mundi*, 2002, vol. 54, pp. 46–66.
- Worlds Apart. An Anthology of Russian Fantasy and Science Fiction* (ed. A. Levitsky). New York, London, Woodstock, Overlook Duckworth, 2007.